Итоговая автобиография

Юрий Колкер

SHOUT
SHARE
IT

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- О СЕБЕ С КАРТИНКАМИ

Юрий Колкер

ИТОГОВАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

(2009)

В моей литературной судьбе было всего два события, оба без происшествий. Первое состояло в том, что за полгода до своего 25-летия я внезапно ощутил себя консерватором в эстетике: увидел, что новизна, которой *общий глас* требовал от стихов, не имеет в моих глазах самостоятельной ценности. Второе случилось четверть века спустя. Его характеризовать сложнее.

1

Я родился 14 марта 1946 года, в Ленинграде, в семье инженера, не слишком интеллигентной. Образование матери, Валентины Чистяковой, исчерпывалось десятью классами советской школы по системе коллективного обучения да курсами медсестер в финскую войну; в юности она сочиняла стихи. Отец, Иосиф Колкер, родом из Одессы, из мелкой буржуазии, в годы НЭПа выучился в Германии на инженера-электрика; к литературе и истории был равнодушен. Молодые люди познакомились в Берлине, в анклаве при советском торгпредстве. Отец проработал в торгпредстве несколько месяцев; там же около года работал присланный через Москву комиссар, мой дед большевик Федор Иванович Чистяков, приехавший с женой и дочерью. Крестьянин на отхожем промысле, типографщик, он вступил в РСДРП(б) в 1909, в годы войны из-за туберкулеза солдатствовал в Петербурге в запасной автомобильной роте (при броневиках), в 1917 году отличился: оказался вожаком полкового масштаба, дальше в советское время, оставаясь военным, сделал пассивную карьеру мелкого партийного функционера; самая высокая должность — военный комиссар ленинградского полигона. Из Германии дед вернулся с вопросом: «Отчего *мы* не можем?!», но умер в 1935 году своей смертью. Не пострадала и бабушка Мария Петровна, тоже из крестьян, будто бы однажды избранная депутатом Петросовета от домохозяек; я помню ее именно домохозяйкой. В моей семье не было репрессированных. По этой линии я из крепостных. Мой другой дед, Борух Лазаревич Колкер, до революции держал кожевенное предприятие в Одессе, образование сумел дать только старшему сыну, моему отцу (младший пробивался через рабфаки); в советское время работал кассиром или бухгалтером, был убит при ограблении в 1934 году в Ашхабаде. Я не знал и моей бабушки, Евгении Давидовны Циммерман; даже ее имя — результат розысков. Отец никогда не говорил со мною о своих родителях.

Стихи я начал сочинять раньше, чем научился писать: в 1952 году. До 1960 года не показывал их никому, кроме близких; те сперва умилялись, потом досадовали (и я показывать прекратил). Первым чтением были Пушкин и Лермонтов. Я сразу почувствовал, что второй — тень первого; что «и я так могу». В 1958 году я зачитывался Виктором Гюго в переводах: его прозой и его стихами; прочел от корки до корки 15-томник 1956 года *с примечаниями*, на которых и воздвиглось мое образование. В 1959 году увлекся Блоком. С 1960 года я изредка посещал

литературный кружок поэтессы Н. И. Грудининой при Дворце пионеров, где чувствовал себя беспризорником рядом с детьми из культурных семей, держался особняком, ни с кем не подружился.

Семья жила в Офицерском переулке (в ту пору — переулке Декабристов, дом 4 квартира 5). По первую четверть седьмого класса включительно (до поздней осени 1959 года) я учился в 52-й школе на Большом проспекте Петроградской стороны (дом 18). Там двумя классами старше меня учился Виктор Кривулин, но с сентября 1954 года, когда было введено совместное обучение, его и меня перевели (по месту жительства) в 66-ю школу, дом 9 по Малому проспекту ПС. Кривулин там и продолжал учиться, я же — первое самостоятельное решение в жизни — добился, проучившись четверть, возвращения в 52-ю школу. С Кривулиным в школе мы друг друга не знали, позже сталкивались, но так и не познакомились. Он и его круг вызывали у меня стойкое отталкивание; в талант Кривулина я никогда не верил.

Учился я хорошо; точнее — получал пятерки и четверки. Из предметов любил историю (рано увлекся античностью), литературу (с оговорками), математику и химию.

Осенью 1959 года родители получили квартиру в первом доме новой постройки на дороге в Гражданку (будущем Гражданском проспекте): дом 9, кв. 20. Сначала я ездил в старую школу, а со второй четверти перешел в ближайшую к дому, 121-ю. Переезд на окраину и смену школы я воспринимал как изгнание, как утрату родины. Страдал пуще Овидия. Написал (в 1961) свои скорбные элегии в форме цикла космических стихов, где герой, затерянный в просторах вселенной, плачет об утраченной Земле, но в первую очередь — о Городе; другой ностальгический цикл назывался *Плач о погибшем городе*.

Ростом я был высок; рос поначалу так быстро, что в 1957 году меня к врачу водили. Врач успокоил, добавив: «Ниже отца он не будет», и ошибся: я прекратил расти в 13 лет, едва дотянув до 180 см; остался на целых семь сантиметров ниже отца.

Осенью 1959 года я начал играть в волейбол в юношеской команде ленинградского *Спартака*; с нею три раза стал чемпионом города. Сверстники сперва все были меньше ростом, потом догоняли и перегоняли меня; я страдал от этого. В 14 лет у меня был первый разряд по волейболу, мне предсказывали большое будущее. Предсказание не сбылось, но волейбол еще долгие годы оставался моим увлечением. Любил я и другие игры с мячом: баскетбол, футбол, пинг-понг, ручной мяч; укладывался в нормы третьего разряда по бегу на средние дистанции и плаванью; никогда не делал утреннюю зарядку. Не выносил игр на сообразительность с противосидением: шахмат, карт. Не мог

долго сидеть без движения.

С 1961 года в дневных школах ввели одиннадцатилетнее обучение. Моя мать, патриотка и беспартийная сталинистка, пуще всего на свете боялась, что я попаду в армию, — и уговорила меня перейти в вечернюю школу, где пока еще оставалась десятилетка. Я сопротивлялся, но не потому, что хотел в армию, а потому, что не хотел работать. Сопротивлялся, но уступил. Тем самым я выигрывал лишний год для поступления в вуз, на тот случай, если я с первой попытки не попаду; сверх того «трудовой стаж» давал дополнительную фору; у «производственников» был отдельный конкурс. О гуманитарных вузах мать не хотела и слышать. «Кем ты будешь? Школьным учителем?» Эта перспектива пугала меня пуще армии; я знал, что преподавать не смогу. Меня тянуло на исторический факультет. Чем дальше, тем больше я обожал античность, пытался сам учить латынь, но не преуспел. Опереться было не на кого; сделать же ставку на писательство в голову не шло: дух времени был мне ясен задолго до того, как я подыскал для него слова. Я знал: с такой фамилией — не пустят. Мать твердила, что в точных науках — спокойнее, надежнее. Ни одного гуманитария, кроме Грудининой, не маячило и на горизонте; Грудинина пробовала говорить с матерью о моем будущем: об университете и писательстве; результатов это не принесло. Отпугивал меня университет еще и тем, что я писал с грамматическими ошибками и плохо запоминал исторические даты. Усидчивости — не хватало. Детскую гиперактивность, чередование взлетов и падений, взрывов энергии и уныния, я так и не сумел изжить.

Осенью 1961 года, в возрасте 15 лет, я начал работать: препаратором (должность ниже лаборантской) в автоклавной группе гидрометаллургической лаборатории института Гипроникель, в котором, в других отделах, работали мой отец и моя старшая сестра. Работал я плохо; нещадно бил дефицитные колбы, устраивал короткие замыкания. До 16-и лет работал четыре часа в день (как того требовал закон), дальше — шесть часов (полный рабочий день начинался с 18-ти лет, но я к этому времени уже стал студентом). Уставал страшно, а работа была пустяковая, и ехать никуда не требовалось: от своей парадной (Гражданка №9) до проходной опытной установки Гипроникеля (Гражданка №11) я доходил за минуту. По вечерам я учился в 43-й школе рабочей молодежи, в том же здании на Большой Спасской (потом проспекте Непокоренных, дом 12), где была дневная школа №121. Школу я окончил с серебряной медалью, хотя сдал все на пятерки, — классная руководительница, у которой никогда не случалось медалистов, не решилась

представить мое сочинение по русскому языку на золотую медаль. После окончания школы, в том же 1963 году, я с легкостью («стаж» не потребовался) поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, некогда знаменитый, а в те годы угасавший.

2

Стихи не отпускали меня, хотя жил я в полном отрыве от какой бы то ни было литературной среды. В студенческие годы я кое-что печатал в так называемых многотиражках (студенческих листках), в основном — в *Политехнике*. Редакция всегда безошибочно отбирала худшие. Потом так же поступали большие редакции.

В молодости, в точном соответствии с полученным воспитанием, я чувствовал себя русским советским человеком — не идейным (затхлость системы была слишком наглядна), а стихийным; в комсомол записался уже на работе, нехотя, для поступления в вуз. Отец, престранный человек, кроткий, немногословный, совершенно равнодушный к политике, мною не занимался. Ему довелось жить в Германии во времена великой депрессии, он видел инженеров, просивших милостыню, — и вернулся в Россию; во времена сталинских репрессий хлебнул страху, уцелел, скорее всего, как человек беспартийный и совершенно не амбициозный. Воспитание шло от матери. Та гордилась своим отцом-большевиком; она задавала тон в семье. Спасибо ей и отцу: речь у них была правильная; бабушке, читавшей дошкольнику Дюма, тоже спасибо; этим культурное влияние семьи исчерпывалось.

Мелкие конфликты с комсомольскими и партийными функционерами начались у меня рано, еще в Гипроникеле, где одна выходка чудом сошла мне с рук (она описана в моих неопубликованных воспоминаниях), но всё это не имело ничего общего с диссидентством или борьбой с режимом. Летом 1966 года, после третьего курса, как «наш поэт» в составе комсомольского студенческого строительного отряда ЛПИ, я ездил в Чехословакию, откуда, к последующему моему стыду, вывез неприязнь к чехам и полное непонимание их гнева.

Естественные науки, особенно математика (ее эстетическая сторона), увлекли меня. Учился я опять по видимости хорошо: получал почти сплошь пятерки (и думал, что этого достаточно). Мешали стихи, чего я не понимал ни в молодости, ни долгие годы спустя. Если бы не они, я бы мог стать сносным теоретиком, — но звук и ритм все отчетливее перевешивали — и теснили науку, интерес к которой приходилось сублимировать искусственно. Я умудрился, тем не менее, получить диплом с отличием (1969), в котором было написано, что я — инженер-физик: то есть сущий вздор; только одна медицина внушала мне больше отвращения, чем инженерное железо.

В феврале 1969 года, по распределению (но и по своему выбору), я получил должность младшего научного сотрудника в ленинградском Агрофизическом институте (АФИ), где занимался математической биологией. Дела сперва пошли словно бы и хорошо; сразу начались публикации; моя дипломная работа появилась под одной обложкой с работой самого Колмогорова, от чего дух захватывало; я наслаждался причастностью к настоящей (теоретической) науке, но вскоре мне стало неуютно на фоне блестящего профессионального окружения (в АФИ на короткий период собралось много талантливых молодых людей); мешали старые беды: стихи, волейбол, гиперактивность, нежелание взрослеть. Я начал скучать над уравнениями. Между тем господствовавшее суеверие (и надежда выбиться из бедности) требовали ученой степени. В 1971, несколько повздорив с начальством, я ушел из АФИ «в аспирантуру при бабе Яге»: в учреждении с апокалипсическим именем СевНИИГиМ (Северный НИИ гидротехники и мелиорации). Это был совсем захолустный институтик, где только два-три человека из четырехсот понимали, что такое наука. Несмотря на народнохозяйственные устремления СевНИИГиМа, диссертацию я написал (к 1975 году) теоретическую, притом — по биофизике, о которой в институте не слыхивали, и даже не был за это выгнан, остался программистом в отделе экономики. Защитил я диссертацию позже, в 1978, в Красноярском академическом институте физики (заминка вышла из-за реорганизации в Высшей аттестационной комиссии); а спустя год, будучи уже «под колпаком у КГБ», получил диплом кандидата физико-математических наук. Работа (диссертация) была хоть и весьма самостоятельная, написанная без всякого руководства, но посредственная; мне еще долго потом было за нее неловко.

3

В начале 1970-х я уже знал, что я не ученый. В аспирантуру я поступал главным образом потому, что хотел иметь побольше свободного времени для стихов. Стихи в 1970-72 годах писались у меня в неправдоподобных количествах: по 200 стихотворений в год, иной раз — по пять стихотворений в день. Этот судьбоносный период описан в моей книге *Из песни злого не выкинешь*. Осталось от него немногое.

С детства я сочинял стихи в классицистической манере, в духе русского XIX века; годам к пятнадцати — подражал символистам, к семнадцати — футуристам. В конце 1970 года, имея за плечами почти 18 лет сочинительства, я вдруг понял, что сел не в свои сани, пошел на поводу у моды. Внезапно оказалось, что модернизм мне чужд, что я — либеральный консерватор в эстетике. (Позже я с удовольствием называл себя ретроградом и *реакционером*, с вызовом говорил: «реагирует — живое».) В конце 1970 года *я начал всё сначала*: как если бы прежде не писал вовсе. Все написанные до ноября 1970 года стихотворения, числом около двухсот, были отодвинуты, но не выброшены. Я устроил себе сознательное ученичество — в том возрасте, когда иные авторы, написав три десятка стихотворений, почитают себя мастерами. В учителя себе я выбрал другого непризнанного поэта: Александра Житинского, пятью годами старше меня, умного и своеобразного; а из признанных — Александра Кушнера. И тому, и другому навязался в ученики. С первым дружба была короткой, навсегда оборвалась в начале 1973 года; дружба со вторым, неровная и неравная, продержалась на двадцать лет дольше.

Мой внезапный консерватизм сводился прежде всего к рифме. Я раз и навсегда отказался от усеченных рифм (с лишней согласной: типа *демократ–вчера*); их, и вообще все приблизительные рифмы, провозгласил пошлостью и кривлянием. Пошлое отношение к рифме шло из Москвы, где эстрадное эпатирование обывателя свелось к одному: удивлять *слушателя* неожиданной рифмой. Удивление (сказал я себе) — низшее из чувств, участвующих в восприятии искусства. Удивляется обыватель, для поэта же нет неожиданных рифм в родном языке. Удивляться можно богу — не печному горшку. Рифма должна делать свое дело незаметно; самостоятельной партии у нее нет. Без звукописи стихов не бывает; без рифмы они обходились тысячелетиями. Поскольку кривляки приучили публику к рифмам типа *чирикала–чернильница* или *мы дышали* —

Мандельштаме, а точную рифму словно бы оставили дилетантам, в моем новом подходе присутствовали аскеза и вызов, понятные немногим. Чернь была справа и слева. В 1999 году, после выступления в институте физики имени Вайцмана в Израиле, я был вознагражден словами: «не слышу у вас рифмы». Эти слова заслоняют от меня весь хор произнесенных в мой адрес похвал.

Вторым пунктом новой моей программы была стилистическая простота. Стихи (решил я) сами по себе настолько иррациональны, что сознательный поиск иррациональности («новизны»), выпячивание иррациональности — та же пошлость и дешевка. (Слово *пошлость* покрывало у меня всё: от политики Кремля до поэтики Вознесенского.) Оксиморон необходим, но его нужно скорее дозировать, чем выпячивать. Тем самым отметались и все формальные изыски: начальная строчная (унижающая поэтическое слово), лесенка, отказ от знаков препинания, густая метафоричность, нарочитая звукопись. Всё это (сказал я себе) делается в угоду черни, на злобу дня, а душе — противно. В том же ряду стояло у меня и требование речевой правильности стихотворной ткани. «Любовь на скрипки ложите» — не художественная находка, а безграмотность. Вчерашние мои кумиры, Маяковский и Хлебников, не говоря уже о Бурлюках и Крученых, представились мне недоучками и бездарностями. Я и сейчас так думаю.

Самая изобразительность должна быть принесена в жертву правильности (сказал я себе), потому что правильность — документирует эпоху, заключает ее в себя. Разумеется, ни рифма, ни структура речи не могут теперь быть пушкинскими; сегодня правильность — другая: вот ее, сегодняшнюю, я и осуществлю.

Всё это я сказал себе и другим, но другие не услышали. Из писавших в столбик ближе всего в моем поле зрения отвечали моему новому ригоризму Кушнер и Житинский, однако ж и они не дотягивали до моего Парфенона (что сам я не дотягиваю, даже не обсуждалось). Москва отметалась вся, кроме Владимира Соколова и Юнны Мориц. Квинтэссенцию бульварной пошлости и плебейства воплощал в себе Евтушенко.

В эти же годы (1970-74), избавленный от служебной лямки, я стал ходить по литературным объединениям Ленинграда, в частности, к известному в ту пору наставнику молодежи Глебу Семенову и к еще не слишком известному Кушнеру; много выступал с чтением стихов — и фактически впервые окунулся в пресловутую литературную среду, где вёл себя вызывающе. Кушнер оказался первым советским поэтом, в котором я готов был видеть поэта (без сопутствующего и *всегда снижающего* эпитета; *русский поэт* значит меньше, чем *поэт*). О Евтушенке

сказано. В Ленинграде его зеркальным отражением казался мне Кривулин; тот же бульвар *с точностью до наоборот*. В Бродского я не поверил: увидел сперва «расхожие ямбы» (когда сам еще писал под Хлебникова), потом — запоздалый байронизм, смешной в советском чулане.

Остается выяснить, в какой мере в моей новой программе присутствовало приспособленчество. На словах — поэт у меня должен был противостоять духу времени, не угождать сиюминутному, держать кукиш перед носом черни, советской и антисоветской, а вместе с тем и не позволять себе слов «Кавказ подо мною», помнить о черном бархате советской ночи, уравнявшем, унизившем всех. На деле — я прятал красную тряпку от быка, не дразнил его прямо. Безнадежная, фальшивая, подлая советская поэзия с ее Симоновыми, Щипачевыми и Асадовыми — тоже, в точности как я, держалась правильной рифмы и простой речевой структуры. Эту поэзию, понятно, я отвергал за ее сиюминутность и приземленность, но одновременно отвергал и то, что открыто бросало ей вызов: весь авангард; единственным приемлемым ориентиром становился сперва поздний Заболоцкий, а затем, с 1972 года, на полных два десятилетия, Ходасевич. Выбираю невыгодный для себя ракурс: допускаю, что конформизм в моей позиции присутствовал, но конформизм не советский. С советской властью и социалистическим реализмом всё было ясно. С ними приходилось считаться как с гнилым ленинградским климатом: терпеть, приспосабливаться. Лучше зонтик, чем плакат «долой дождь!».

В 1971 году я пустился в забавную авантюру: стал систематически рассылать мои стихи в советские журналы. Моей идеей было: «я *их* проведу, перешибу обух плетью; за моей вполне обыкновенной формой *они* не разглядят не вполне обыкновенного содержания». Главный мой козырь был количественный: я мог каждую неделю составлять новую подборку стихов. Получив отрицательный (часто издевательский) ответ из журнала, я аккуратно, по готовому шаблону, благодарил рецензента «за доброжелательный отзыв о моей работе» и посылал другую подборку. Схема сработала. К 1975 мне удалось сделать 9 публикаций — в Ленинграде, Москве и «столицах союзных республик». Все это была веселая игра, имевшая целью пробиться в субсидируемую литературу, в советские писатели с их праздностью и привилегиями, по возможности не запятнав себя; мне казалось, что на такую удачу еще можно надеяться. Пожалуй, я бы и проскочил, если бы не моя фамилия, новые политические заморозки, да моё неумение смотреть в глаза начальству. Я дважды участвовал в конференциях молодых писателей Северо-

Запада СССР (в 1971 и 1978), причем в первый раз был там отмечен как подающий надежды поэт, а во второй не был — потому что стихи стали лучше.

В 1971 году, вместе с моим ригоризмом, явилась у меня мысль, что корректное употребление кавычек — только одно: выделение цитаты, стихи же вообще кавычек не терпят. По сей день держусь этого. Думаю, что кавычки — самый советский знак препинания. Именно в советское время додумались закавычивать слова для придания им иронического оттенка, закавычивать имена собственные (типа Промгаза) или сокращения. Как всякая избыточность, такие кавычки унижают внимательного читателя.

4

Внезапно в моей жизни что-то обломилось. С 1975 года меня полностью прекратили публиковать (тогда я не понимал, что дело не только во мне: после процессов Хейфеца и Марамзина изменился политический климат), а издательство *Советский писатель* остановило подготовку практически уже принятой к печати книги моих стихов (рекомендованной конференцией молодых писателей Северо-Запада). Редактор несостоявшейся книги, Кира Михайловна Успенская, мне сочувствовавшая, поняла причину так, что я где-то публично заступился за Бродского: сказал, что, мол, это его право выбирать, где жить, — и в издательство позвонили из Большого дома. Сейчас думаю, что дело не сводилось к одному какому-то случаю. Я просто был неосторожен. Сам я в начале 1970-х и в мыслях не имел эмигрировать; безумно бы удивился, скажи мне кто-нибудь, что до этого дойдет. В диссиденты меня в итоге вытолкала бездарная власть; вытолкала в числе последних; я упирался руками и ногами.

В середине 1970-х «веселая игра» для меня вдруг оборвалась, жить стало невесело. За литературными неудачами последовали житейские; сокровеннейшие радости и самое счастье стали оборачиваться своею изнаночной стороной. В январе 1973 года я женился на своей однокласснице по 43-й школе рабочей молодежи, Тане Костиной, тоже писавшей стихи; через год у нас родилась дочь Лиза. Для меня началась социализация, и тут-то советская действительность заявила о себе в полный голос. Оказалось, что жить некуда и нечем. Тягостная, пустая и скучная служба с отсиживанием, где моя квалификация и на полпроцента не использовалась; бедная, неустроенная жизнь в трущобной коммуналке; внезапно оборвавшиеся публикации, отсутствие будущего, беззащитность в отчужденном и враждебном обществе, — вот чем сменился праздник. Мы с Таней были бесприданники (в нашем поколении сносно жили только те, кому помогала родня). Моя семья была бедна, ее — просто нищей. Отдельная квартира нам не полагалась по закону: после размена квартиры моих родителей нам с Таней досталась комната в 28 метров в трущобной коммуналке, а на очередь по улучшению жилищных условий ставили при четырех метрах на человека. Защитить готовую диссертацию мне долго не удавалось, поменять работу оказалось делом невозможным. В 1976 году на меня тяжело подействовала внезапная смерть отца. Чуть раньше начались массовые отъезды. Поначалу мы с Таней не смотрели в эту

сторону. Нас удерживал литературный патриотизм («кому нужны русские стихи за рубежом?»), да еще то, что мы ударились в толстовство. Выходило, что нужно подавлять свое ego, «страдать с народом». (Что «народ» — литературная выдумка, я не понимал.) Но жить становилось всё труднее. В 1974 году мы, по настоянию Тани, всё-таки заказали *вызов* (приглашение из Израиля); он не пришел; мы десять раз повторили заказ — опять впустую, а тем временем боролись со своею нерешительностью и с противодействием родни.

Хуже всего было то, что стихи стали сходить на нет количественно и качественно. Не валю всё на советскую власть. Семейная жизнь — испытание для поэта. Легче всего стихи черпаются «из мутного эротического источника»: влюбился — написал; еще раз влюбился — еще раз написал. Для Цветаевой супружество была «совместностью»; Н.Я. Мандельштам «не видела разницы между мужем и случайным любовником». Мне эта схема не подходила. Свою «совместность» я переживал как бесповоротный космический акт. Промискуитет в жизни (как и промискуитет в рифме) был для меня пошлостью, грязью, дешевкой; не отвечал фактуре времени и места. Верно: всё это могло бы предстать в совершенно ином свете, живи я в обычном человеческом обществе. Но я жил в необычном. «Средь шумного бала, случайно» — не рифмовалось с очередями в гастрономе и прачечной, с ежедневными унижениями на улице, на службе, в коммунальной кухне; с жизнью на грани физического голода, не говоря уж о духовном. КГБ тоже был тут, дышал в затылок; люди попадали в лагеря *за неопубликованные тексты*.

Вскоре мне стало не до вопроса о том, кому нужны стихи за границей (вообще глупого: стихи должны быть нужны сочинителю); даже — не до стихов. Никогда я не «жил, чтобы писать» (как однажды, в разговоре со мною, сказал о себе Кушнер); я писал, потому что жил. «Я живу несчастливо, но знаю, что счастье — не цель»: эта строка Валерия Скобло точно выражала мое состояние. Ради тех, кто от меня зависел, кто доверился мне, я готов был на самую страшную жертву, — и на деле принес ее: в течение многих лет писал мало и плохо, изводился этим, балансировал на грани душевного срыва, но простой и дешевый выход отверг, совестью не поступился.

В 1979 Таня тяжело заболела, угодила по скорой в страшную больницу им. 25 октября, после операции на позвоночнике осталась инвалидом. Издевательства и ужасы, которые она вынесла, описаны в моих воспоминаниях. Полгода по больницам, потом — костыли; почти полная беспомощность в 33 года и смехотворная пенсия. Наша дочь с рождения болела тяжелой

формой нейродермита. Этими обстоятельствами и определялась моя жизнь, в том числе — и моё сочинительство. Эмиграция (на которой настаивала Таня) становилась выходом естественным и единственным. В 1977 году, еще до катастрофы с Таней, после трех лет ожидания израильский вызов пришел; мы сходили в ОВИР, беспрепятственно получили анкеты — и не подали; моя мать умоляла меня *сначала* защититься (думала, что степень меня удержит); Таня опасалась, что я наживу комплекс, отказавшись от защиты. И я уступил.

5

Ходасевича я открыл для себя в 1972 году, Боратынского — несколько позже. Оба идеально отвечали моей новой эстетической установке, а из современников — никто до конца не отвечал. Ходасевич был полузапретен. Его *Тяжелую лиру* мне пришлось переписывать от руки в Публичке. Закончив эту упоительную и захватывающую работу, я с удивлением увидел, что помню все стихи наизусть: с такою силой они были пережиты. До начала 1980 года я знал только эти стихи Ходасевича и почти ничего — о нем.

В 1979 году, едва дела у Тани пошли на поправку (вместо костылей она смогла опираться на палку и выходить из дому), я, тоже в Публичке, прочел с выписками книгу (диссертацию) норвежца Гейра Хетсо о Боратынском, нигде более в те времена не доступную. Вот еще одна из гримас русского большевизма: нельзя было сказать «народу» правду о детском проступке Боратынского; оттого и Хетсо под спудом держали. Любовь к Боратынскому пережила во мне даже любовь к Ходасевичу. По сей день не устаю изумляться тому, что Россия не прочла своего второго по значению поэта.

В декабре 1979 года началась афганская война, и я сказал себе: хватит; ни с этим режимом, ни с этим потерявшим стыд «народом» я не хочу иметь ничего общего. На площадь выходить бессмысленно; взять билет в Вену нельзя; можно и должно — постараться продать свою жизнь подороже, порвать с мещанской советской добропорядочностью, чтобы хоть перед собою частично оправдаться.

За выездную визу в ту пору приходилось бороться. Как раз с 1980 года власти стали требовать «прямого родства», приглашения от родителей, братьев или сестер. У нас — все «прямые» были в Ленинграде. Четыре месяца ушло только на то, чтобы *подать заявление* на выезд и «сесть в отказ» (что сразу не выпустят, было ясно; в народе говорили: «раньше сядешь — раньше выедешь»). Я обивал пороги, жаловался, просил. Потребовалось письмо на высочайшее имя (в ту пору *первым лицом* России был маразматик Брежнев). Что было пережито, сегодняшним не объяснишь. Какие справки требовались! Например, о жилищных условиях сестры. Процедура была рассчитана на унижение и запугивание. Опускаю детали, но одно отмечу: люди, собиравшие чемоданы, становились предателями в глазах не одной только подлой и пошлой власти, но — в глазах *окружающих*: в глазах *народа*. Всё перевернули в России две

революции: петровская и большевистская, — одно устояло, закрепилось в сознании: закон 1649 года из Соборного уложения Алексея Михайловича, объявлявший эмигранта изменником. Тут — московитское средневековье было свеженьким и румяным, выражало самую душу «народа». Непостижимым образом оно передавалось и самим потенциальным эмигрантам. В России жить нельзя, но — «как жить без России?» На устах у меня были веселые присказки: «Лучше жить в Майями, чем в помойной яме»; «Через четыре года здесь будет голый зад» и т. п., но приступы ностальгии случались тяжелейшие. Зато после пересечения границы — классической ностальгии мы так и не вкусили. Тут Маркс не оплошал: у пролетария нет родины.

В январе 1980 года я бросился в омут: уволился из программистов при бабе Яге и стал искать черную работу. Зачем? Затем, что я становился прокаженным. Нельзя было из ОВИРа вернуться на рабочее место. Люди с более крепкими нервами могли, а я не мог. Как смотреть в глаза начальнику, неплохо ко мне относившемуся? Я подводил его — и вообще всех. Сперва подам на выезд (сказал я себе), а потом наймусь куда-нибудь сторожем. Подать сразу не удалось, а кормиться нужно было. С марта 1980 я устроился в кочегарки, где и проработал четыре года: сначала сменным мастером, затем оператором газовых котельных.

Надвигалась московская олимпиада 1980 года; КГБ готовился к ней; несколько ленинградцев из числа видных правозащитников (например, физик Юрий Меклер) были высланы из страны против их воли; меня — 16 апреля 1980 вызвали для «беседы» по месту бывшей работы (в бухгалтерию, под предлогом недоплаты). Я был мелкой сошкой: мне пригрозили статьей 190(1) за стихи, ходившие по рукам. О том, как я мал, свидетельствует ошибка литературоведов в штатском: они, мне кажется, явились в СевНИИГиМ, не зная, что я там уже не работаю (да и в лицо меня не знали). От меня потребовали не разглашать беседы; я не подписал требования и сразу по выходе из СевНИИГиМа сообщил о ней в *Хронику текущих событий*; естественно, друзьям и знакомым тоже рассказывал. Я не герой по натуре, но моя нравственная позиция — моя несомненная, невыдуманная правда в союзе с моими скромными притязаниями — помогла мне преодолеть робость, а под конец стала так сильна, что, загнанный в угол, у последней черты, я вовсе потерял всякий страх.

Оказавшись в кочегарках, я стал печататься в тогдашних машинописных журналах, главным образом — в *Часах*; этот журнал делался сперва в соседней кочегарке, потом прямо в той, где я сидел у котлов. Полуподпольная литературная среда в

Ленинграде была единой (в отличие от Москвы, где имелось несколько не пересекавшихся кругов). Многие из непризнанных авторов работали в кочегарках. Мое место в этой среде оказалось неудобным: будучи консерватором, я не был заодно с христианами, твердившими о возрождении православной России; будучи противником пошлой советской эстетики, я выступал против авангарда. Независимость моей позиции многих раздражала.

Затевая отъезд, мы с Таней мечтали об Австралии: подальше от большевиков. Верилось, что туда они при нашей жизни не дотянутся. Что вообще дотянутся, в этом никто не сомневался. Большевизм казался несокрушимым — и народным. В качестве парадокса я тогда твердил, что большевизм и есть русская демократия; путинская Россия показала, что никакого парадокса тут не было. Однако первое же соприкосновение с отказницкими кругами привело нас к мысли, что проехать мимо Израиля стыдно; тысячи людей поколениями сидели на чемоданах с мечтою о нем. Явилась необходимость переходить из русских в евреи: момент мучительный, ностальгический в уже обозначенном мною смысле; мечту о небесной (очищенной от большевиков) России приходилось совмещать в сердце с мечтой о небесном Иерусалиме, прекрасной, но с молоком матери не впитанной. Я начал ходить на квартирные лекции по еврейской культуре; записался на домашние курсы иврита. В литературном полуподполье, в среде кочегаривших писателей, это не нравилось, воспринималось как отступничество, как измена русскому делу. Последующая жизнь показала, что я так и останусь между двух стульев; еврейское дело тоже моим не стало; но минус на минус даёт плюс — и я пребываю в надежде, что две измены равны одной верности.

В 1981 году мои стихи самотеком опубликовал парижский журнал *Континент*, в 1982 году — парижская газета *Русская мысль* (о второй публикации я не знал). «Публикация на Западе», вещь по сути своей пустяковая, совершенно меняла тогда положение и состояние счастливчика. На миру и смерть красна. В кочегарках, впервые с детских лет, я почувствовал себя свободным. Телефон в нашей коммуналке прослушивался — я совершенно перестал с этим считаться, говорил, в том числе и с заграницей, открыто, выражений не выбирая.

В том же 1981 году я начал готовить собрание стихов Владислава Ходасевича — сперва для себя, потом для издания в Париже. Началось с пустяка: А. В. Кобак, с которым я кочегарил, попросил меня провести что-то вроде домашнего семинара у него на квартире: рассказать его друзьям и знакомым о Ходасевиче, а

заодно и прояснить, отчего я с таким жаром отстаиваю консервативную эстетику. Я отправился в Публичку, кое-как подготовился; что-то рассказал, почитал стихи. Слушателей было человек шесть. Затем от *Часов* через того же Кобака пришло предложение написать о Ходасевиче. Тут я взялся за дело всерьез и написал большую статью под названием *Айдесская прохлада*. Это были счастливейшие месяцы: впервые я получил возможность, забыв о себе, систематически выговорить перед заинтересованными читателями мою литературную позицию на примере любимого поэта. Статья удалась; ее читают до сих пор; на нее ссылаются. Это был первый обстоятельный очерк жизни и творчества поэта. В 1986 году московский литературовед, профессор Ю.И. Левин начал свою статью о Ходасевиче так: «Владислав Ходасевич — белое пятно на карте отечественного литературоведения. Несколькими проницательными статьями (А. Белого, В. Набокова, Ю. Колкера и др.) едва намечены контуры этой земли...» (Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 17). В Израиле (я к тому времени был в Израиле) это произвело впечатление, но мне голову не вскружило — потому что я метил выше.

В 1982 году евреи-отказники затеяли общество по изучению еврейской культуры (ЛОЕК). Несмотря на его полную законность, власть общество запретила. Собирались подписи; писались протесты в Москву и на Запад; антисемитская природа режима предстала перед всем миром как на блюдечке; бездарная власть не понимала азов, не чувствовала своей собственной выгоды, пилила сук, на котором сидела.

Я никогда не брал в руки вожжи; никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, ни на минуту не мог и не хотел главенствовать, руководить, повелевать, даже просто заседать и обсуждать; из коллективов признавал два: семью и человечество. Я не вожу автомобиль: это ли не фатализм? Но вышло так, что обстоятельства выдвинули меня на короткое время в первые ряды тогдашнего еврейского движения. В 1982 году был затеян *Ленинградский еврейский альманах* (ЛЕА); требовался литературный редактор; лучшего, чем я, не нашли. Именно отсутствие выбора заставило меня взяться за дело — да еще то, что участие в альманахе представляло собою форму борьбы за выезд. Мой интерес по-прежнему был один: русская поэзия. Еврейские дела и тексты казались чужеватыми, но я работал добросовестно; на деле переписывал каждую статью; выпустил (в литературном смысле) первый и третий номера; четвертый номер ЛЕА вышел уже после моего отъезда, но с моей статьей (о поэте Владимире Лифшице).

Рядом и параллельно шло главное. *Часовщики* затеяли для

самиздата антологию неподцензурной ленинградской поэзии и пригласили меня в число составителей. Конечно, и тут был коллектив, но зато уж дело-то литературное. Я с радостью согласился. Почему выбрали меня? Нужен был отъявленный консерватор — для равновесия, ибо почти вся вторая литература дудела в авангардистскую дуду. Консерватором я заявил себя со всею определенностью при подготовке двухтомника Ходасевича; мою декларацию услышали. Правее меня в эстетике была только стенка. Однако ж тон в компании составителей задавал самый левый из нас, авангардист Эдуард Шнейдерман, своею мягкой настойчивостью умевший обуздать мое реакционное бешенство, вообще всё более и более направлявший это предприятие, прибиравший его к рукам, в то время как я, уступая шаг за шагом, к антологии остывал. Двое других составителей были Вячеслав Долинин (левоцентрист) и Светлана Вовина (Востокова, Нестерова; правоцентристка). Сборник готовился год с небольшим, сложился к середине 1982 года; назван был *Острова*, разошелся в самиздате. В эмиграции я пытался его напечатать, но не сумел.

В апреле 1984 меня уволили из котельной киномеханического завода *по сокращению штатов*. История эта темна. Ее подстилает конфликт между мною и тремя другими литераторами-кочегарами, редакторами журнала *Часы*. Обе стороны обвиняли друг друга в безнравственности. В моих воспоминаниях (*Пархатого могила исправит*) я признаю свою частичную неправоту, но от главного не отступаюсь. Неправота *Часов* состояла, среди прочего, в едва сдерживаемом антисемитизме, для меня более страшном, чем антисемитизм советский.

В самый день моего отчисления из кочегарки, 16 апреля 1984 года, меня с Таней в восемь часов утра вызвали звонком в ОВИР и предложили (после пяти отказов за четыре года и угроз сдать дело в архив!) «быстро собрать документы», не заботясь о соблюдении формальностей. У нас не было свежего вызова; нам сказали: «неважно». Незадолго перед этим, когда стало ясно, что мы остаемся без куска хлеба, я заявил в ОВИРе, что буду отказываться от советского подданства; я сделал это, не зная, что *мы с Таней уже граждане Израиля*, о чем КГБ мог знать. Дело в том, что одно из коллективных писем отказников, составленных и отредактированных мною, письмо с требованием свободы репатриации, получило широкий отклик на Западе, передавалось *по голосам*, было напечатано на нескольких языках. Моя подпись шла там первой, а письмо подписало несколько сот человек в разных городах; в качестве награды правительство Израиля и

выписало нам сертификаты на гражданство. Это ли помогло, не знаю. Почти одновременно в Париже вышел мой двухтомник Ходасевича. В мае мы получили разрешение на выезд и 17 июня 1984 года, с четырьмя чемоданами, улетели в Вену.

Год 1984 был невыездной: всего из страны уехало 900-950 человек (полный минимум наступил в 1985 году). Закрытие выезда власти официально объясняли тем, что евреи в Израиль не едут. Ехать можно было куда угодно: в Австралию, в Южную Африку; все наши друзья жили в США и Канаде, где правительства и общины предоставляли беженцам льготы. В Нью-Йорке (мы знали это) для нас держали квартиру; в Париже (мы догадывались об этом), при тамошнем очаге русской культуры, нас, после моего Ходасевича, готовы были принять и пристроить; во Фрайбурге (странное дело!) меня были готовы взять на работу в качестве биофизика. Изумив всех, мы (толстовцы, а не сионисты) из Вены поехали в Израиль, где у нас не было ни родни, ни друзей. Думаю, и в КГБ не верили, что такое старомодное соображение, как совесть, может сказаться на нашем маршруте. Но предать оставшихся в Ленинграде отказников было немыслимо.

В Израиль мы ехали по доброй воле, но без большой охоты. Это была жертва вроде заклания Ифигении, жестокая, но необходимая. Ехали с надеждой на лучшее, с готовностью к худшему, не имели ни малейших обольщений (это уберегло нас от разочарования). Одно вызывало горечь: всю жизнь мы с Таней мечтали хоть немного пожить в Италии, теперь такая возможность открывалась: путь в Америку лежал через Рим, там беженцы жили месяцами. Русским — помогал Толстовский фонд, от одного имени которого сердце заходилось; *небесная Россия* начиналась у трапа венского самолета. Но не было ли подразумеваемым условием помощи оттуда — православие? Не честнее ли было *взять на себя еврейство*, для нас назывное? Помимо нищеты, болезней и бесправия нас выгнал из СССР антисемитизм. Приняв это в соображение, мы из Вены поехали прямо в Израиль.

6

Стандартного разочарования в Израиле, как и классической ностальгии, мы так и не узнали; трудности — начались немедленно. Самый простой путь в литературе — оседлать готовый миф, русский, еврейский, французский, советский, православный, любой. Внутри большого коллектива все сыты и веселы; прославляя своих, человек хвалит себя. В Израиле сотни людей писали стихи по-русски. Многие писали хорошо. Талантов было сколько угодно. Беру наугад Бориса Камянова: разве не был он лучше Евтушенки? Смешно и спрашивать. Но, совершенно как у русско-советского Евтушенки, подмостки достались ему готовые, микрофон был включен на полную мощность. Свобода самовыражения сыграла дурную шутку со многими израильскими авторами: оборвала ту душевную работу, ту мучительную и сладостную аскезу, результатом которой — в придачу к одиночеству — становится твой лирический герой, твой индивидуальный, единственный в своем роде, ни с кем не делимый миф, безотносительно к его масштабу. А стихи писать — кому ума недоставало? Работа нехитрая.

С первых дней в Иерусалиме (нас поселили в столице, в центре абсорбции) сионистский Пролеткульт пошел на меня сплошным строем. Против этой-то фаланги, против этой элефантерии и камелерии, я и выехал на своем ишаке с картонным щитом традиционной русской просодии и камышовым копьем точной рифмы. Схватка началась сразу же; она не могла сложиться в мою пользу, но я уцелел и главным не поступился. В Ленинграде противники были справа и слева, здесь — эстетически только слева: все русские в Израиле, политически поголовно правые, в эстетическом отношении были крайне левыми (об этом — моя статья 1986 года *Гарвардский синдром в эстетике*); понятно, что мое равнодушие к политике делало меня в их глазах политически левым. Моё вхождение в израильскую жизнь и русскую зарубежную литературу, подробно описаны мною в книге воспоминаний *В иудейской пустыне*. Там же — занятная коллекция писем.

Друзей и знакомых у нас сразу появилась масса; дверь в нашу квартиру в центре абсорбции не закрывалась. Наш приезд был событием. Квартира была хоть и убогая, но отдельная: непостижимая роскошь! То, о чем и мечтать не могли на родине, в Израиле мы получили сразу. Внимание к нам не ослабевало. Тут действовало и то, что в Ленинграде волна вынесла меня на минуту в число еврейских активистов; и мой парижский

Ходасевич; и то, что мы просто были диковинкой: ведь «никого не выпускают». Человеческого тепла, всевозможной помощи и поддержки за первые полгода мы получили столько, сколько не видели на родине за всю нашу жизнь. Израиль был прекрасен — с уже сделанной оговоркой насчет некоторой местечковости русской литературы; за него не жалко было жизнь положить, но всё еще оставалось неясным, можно ли в нем жить. Помощь общественная шла со всех сторон, от людей совершенно незнакомых (среди которых отмечу писателей Феликса Канделя и Михаила Хейфеца), — и не была лишней: помощь от государства и Сохнута (Еврейского агентства) в ту пору оскудела. Что денег нам едва хватало на еду, не составляло для нас проблемы; тут мы были привычные; но отсутствие в квартире телефона по временам превращало нашу чудесную и в целом счастливую жизнь в настоящий кошмар. Мы были оторваны, во-первых, от тех, кому должны были помогать: от бедствовавших в России друзей, родственников, отказников, а потом и политзаключенных (из нашего круга четверых осудили за сионизм); во-вторых, от тех, кто нам хотел помочь. Помню, как в Париже, Нью-Йорке и Мюнхене люди изумлялись тому, что к нам домой нельзя позвонить. По временам от этого пустяка просто руки опускались.

Мне тоже изумлялись: не понимали, отчего я не хочу представить мой двухтомник Ходасевича на кафедру славистики и получить PhD по русской литературе. Но, во-первых, степень у меня уже была, хоть и в другой области; а во-вторых и в главных — и это объяснить труднее всего — я хотел взять на себя весь без изъятья труд вхождения в новую жизнь, не пользоваться никакими трамплинами. Готовность к служению переполняла меня. Я говорил себе: *человек виден*, его облик ясен из слов и поступков; я покажу себя и получу ровно столько, сколько мне причитается по моим заслугам, а большего мне не нужно. Этого тоже не понимали. В моем положении стоило только гикнуть — и дали бы многое, вплоть до профессорской должности. Не понимали, насколько жизнь внутренняя перевешивала в моей системе ценностей жизнь внешнюю. Я же с трепетом смотрел только в одном направлении: не пропадут ли стихи? Незачем говорить, что поначалу было не до них. Наоборот, очень нужно сказать, что я испытывал мучительную неловкость из-за двойственности своего положения: русский поэт в стране библейской поэзии казался ненужным, на деле был не нужен; только невероятная, непостижимая толерантность еврейского мира оставляла ему место; потом я наблюдал, как в самом эпицентре сионизма находились спонсоры для поддержки проектов по своей сути антисионистских: типа серии книг о

русских евреях, прославившихся не в Израиле, а на Западе. В Израиле терпели всё, поощряли любое творческое поползновение. Поощряли прямой вздор. Один питерский стихотворец второго разбора, выехавший в 1970-х, еще на пути в Израиль протрубил о своей гениальности — и немедленно стал гением в глазах общества, внутренние силы которого жадно работали на выявление душевного богатства каждого. В сущности, этот пасынок музы выбрал правильный путь к успеху; потом выяснилось, что и в других странах этот путь тот же; но такого успеха я не хотел.

В аспирантуру при иерусалимской славистике меня добрые люди всё-таки запихали. Я уступил, чтобы не огорчать их; заплатил какие-то деньги, сходил на две лекции Сермана; но учиться азам было поздно, да и не мыслил я себя ученым от словесности; не верил, что литературоведенье — наука. На рубеже XXI века, в Лондоне, на русской службе Би-Би-Си, гость из Иерусалима, Роман Тименчик (в 1984-м он был еще в Риге), напомнил мне, что я всё еще числюсь аспирантом *его* иерусалимской кафедры.

Прошлое состоит из одних ошибок; таков уж этот жанр. Моя главная ошибка состояла в непонимании, что музы ревнивы. Добросовестность и толстовство подталкивали к отказу от самовыпячивания: к общей судьбе и лямке. Я сказал себе: нас должно кормить мое естественнонаучное образование; а стихи — если они не уйдут — пусть будут тем, чем были всегда: молитвой. Убогий СевНИИГиМ и кочегарки не прошли даром; я не занимался наукой многие годы, отстал, но тут ведь мне помогут — и кто знает… Разве там, в гиблом Ленинграде, не мечтал я о настоящей науке, свободной от советских гадостей? об упоительной университетской среде западного мира? На самый худой конец устроюсь программистом, это простой и надежный хлеб; учиться почти не нужно.

В науку я в итоге и определился: в лабораторию биофизики при иерусалимском университете; состоял там с февраля 1985 года по сентябрь 1989 года; опубликовал одну-единственную статью, правда, в международном журнале, но — одну, нормой же было — publish or perish: минимум три статьи в год, иначе прощай; а мои конкуренты не писали и не читали стихов. Один профессор из англоязычной страны без тени смущения признался мне, что никогда не читал Шекспира. Советская культурная пирамида рухнула, как карточный домик. Я понял: современная жизнь в свободном обществе уже самим своим многообразием и богатством навязывает профессионалу узкую специализацию. Биолог или физик могут обойтись без Шекспира, самые

увлеченные, лучшие — просто *должны* им пожертвовать. Универсализм ушел навсегда.

Университетская среда мои ожидания обманула. При составлении грантов приходилось совершенно также подчеркивать практическую сторону дела, как при составлении планов в советских институтах. Теории никто не хотел. Написать «о некоторых решениях одной задачи» значило денег не получить. Дальнейшее показало, что и на Западе положение не лучше. Университет как республика мысли больше не существовал. В лучших областях знания, там, где возможна формализация или хоть систематизация, установилась карьерная, почти чиновничья психология. В других, например, у русских славистов, отсутствие строгости позволяло выдавать публицистику за науку.

Абсорбция наша складывалась неважно. Язык, в обиходном своем варианте простой, нам не давался. На учебе не было возможности сосредоточиться. Сверх того мешала застенчивость, понятная только литератору, выросшему в сплошной моноязычной среде: «чем выражать свои мысли плохо, лучше совсем воздержаться от разговора». Люди со скромным культурным запасом осваивали язык первыми. Общая доброжелательность, невероятная демократичность и открытость израильской жизни позволяли учиться прямо на улице, на рынке, в министерстве и в банке. Наша десятилетняя дочь свободно говорила уже через четыре месяца, в наших же с Таней головах происходил Вавилон; иврит теснил плохо выученный английский; в наш русский, вопреки положенному зароку, хлынули ивритские слова. В течение каждого дня приходилось говорить на трех языках.

Сверх того я еще всё время писал по-русски. Публиковаться я начал сразу: в журналах *Страна и мир* (Мюнхен), *Двадцать два* (Тель-Авив), *Континент* (Париж), в парижской газете *Русская мысль* (в ту пору — лучшей русской газете мира, теперь выродившейся в жалкий бульварный листок) и других изданиях; у меня немедленно начали брать интервью радиостанции *Свобода* и *Коль-Исраэль*.

Литераторы ко мне приглядывались, поначалу — с интересом; но в первых же статьях я отмежевался от господствовавшей идеологии, а в первом публичном выступлении вышел с вилами на паровоз против израильского русского истэблишмента: на вручении премии Майе Каганской заявил с трибуны, что «ее обращение со словом и фактом представляется мне неудовлетворительным». Еще бы! Одна из ее статей называлась *Мандельштам — поэт иудейский*. От одного названия можно было прийти в бешенство. А между тем гениальность

Каганской была в Израиле общим местом. Мои слова услышали и поняли правильно: я — чужой. В других публикациях и выступлениях я закрепил это понимание. Например, в справочнике союза русскоязычных писателей Израиля (в этот союз меня приняли 19 ноября 1985 года; потом я был членом приемной комиссии, потом — выбыл из союза за неуплату членских взносов) я прямым текстом писал, что в России считал себя не сионистом, а толстовцем, — с этим и в Израиль приехал.

Первым новым и важным для меня сочинением стала моя статья *Острова блаженных: Вторая литература и самиздат в Ленинграде*, напечатанная в январском номере *Страны и мира* за 1985 год — с таким количеством искажений, что я слег на несколько дней. Одна из редакторских правок подводила к мысли, что я получил какую-то самиздатскую премию, чего в помине не было. Между тем правил статью Борис Хазанов, прозаик, который попадал у меня в число трех лучших стилистов мира. Журнал вообще был хоть и общественно-политический, но в высшей степени культурный; от уровня его публикаций дух захватывало. С этим журналом (в лице его главного редактора Кронида Любарского) я поссорился спустя два года; с Хазановым — дружбу, хоть и не безоблачную, как раз тогда завязавшуюся заочно, сохранил надолго.

Со своими стихами я проделал фокус, которого, решаюсь думать, никто из сочинителей нашей волны эмиграции не проделывал. Все, выехав, издавали и публиковали своё лучшее. Я сказал себе: подлая советская власть украла у меня молодость, лишила возможности печататься, расти от публикации к публикации, от книги к книге. Не замечу этого. Буду жить свою жизнь. Сейчас, оказавшись на свободе, не стану показывать моих последних стихов, а буду разворачивать себя хронологически, от первых моих стихов, которые всё еще ценю, к сегодняшним, лучшим; моя жизненная программа, хоть я и старше Пушкина, едва началась; буду же терпелив; куда спешить? Подстилали это решение вера в то, что советская власть — тысячелетний рейх, и вера в читателя, сегодняшнего и провиденциального. Вторая вера оказалась такой же чепухой, как первая.

Иначе говоря, в журналы я отдавал не лучшее, а ведь встречают человека по одёжке; так же я поступил и с книгой стихов: издал не избранное, а *первый* из четырех небольших сборников, сложившихся у меня хронологически и предназначенных для печати. В ленинградском самиздате книга называлась *Послесловие*; под этим же названием она была оттиснута в 1985 году в Иерусалиме (притом, из соображений нелитературных, не полностью). Конечно, я хотел издаться в

Европе или Америке; надеялся на парижское издательство *La presse Libre* при *Русской мысли*, где главный редактор, Ирина Иловайская, ко мне благоволила; на *Ардис* Карла Проффера и *Эрмитаж* Игоря Ефимова (где у меня протекции не было). Но Иловайская и *Ардис* тянули с ответом, а Ефимов спросил за издание $1500, ровно в пять раз больше того, что нам позволили вывезти из России. Сумма казалась астрономической (мы получали $120 в месяц на хлеб), а на деле была разумна, условия Ефимов предлагал хорошие, мои стихи хвалил. Друзья в США готовы были мне помочь, но я не решался брать в долг такие умопомрачительные деньги без ясных перспектив в смысле трудоустройства; друзья же не понимали, как для меня важны эти деньги, для них пустяковые. Просомневавшись полгода, я от *Эрмитажа* отказался. Это была величайшая глупость. Самый факт издания в *Эрмитаже* вернул бы мне эти деньги: не только через продажи (*Эрмитаж* имел солидную репутацию и основательно рекламировал свою продукцию, печатал же далеко не всех), а через бессмертную пошлость людскую: мой, говоря по-русски, рейтинг подскочил бы в глазах тех, кто смыслит в деньгах, а не в стихах.

За *Послесловие* я получил в 1986 году первую и единственную в моей жизни премию. Досталась она мне по разнарядке: государство как раз учредило награду за первые книги новых репатриантов; среди русских писателей подходил под мерку один я.

В 1986 году мы с Таней написали большую статью на 50-летие Кушнера и напечатали ее в *Русской мысли*, причем только под таниным именем, потому что меня Кушнер напутствовал просьбой о нем не писать. В статье Кушнер противопоставлялся Бродскому, в первую очередь — по части мастерства. Не обошлось без редакторских искажений, внесенных, думаю, рукой Горбаневской, Кушнера презиравшей; но удивительно уже то, что такую статью вообще удалось там напечатать. Весь русский Запад точно знал, что с Бродским никто сравнения не выдерживает; Кушнера держали за мелкоту; его поэтика, его правда, без которой, вероятно, я не выжил бы в России, — совершенно как в своё время правда Ходасевича, — не давалась людям, тугим на ухо.

В том же 1986 году состоялась третья важная для меня публикация: статья о стихах Владимира Лифшица в *Континенте*. Еще в рукописи я послал ее сыну Лифшица, Льву Лосеву; тот в ответном письме, расхвалив ее и меня, указал на некоторые биографические неточности, которые я исправил. Заочная дружба с Лосевым вскоре завершилась заочной размолвкой в связи с

другой моей статьей. У этой дружбы так или иначе не было будущего. Еще раньше, до размолвки, на мои слова о том, что русский язык Солженицына плох, Лосев ответил: нельзя принадлежать к *партии* противников Солженицына. Я вглядывался в письмо и не верил своим глазам.

Жуткая правда о кумовстве и партийности в бесцензурной литературе подтвердилась на следующий год. Валентина Полухина из провинциального британского университета заказала мне статью о Бродском для очередного сборника о его поэтике. Самый этот сборник казался мне вздором; «живущий — несравним»; исследовать поэта при его жизни — кружковая самодеятельность, дешевка и недобросовестность. Однако ж я был польщен и согласился, главным образом потому, что это позволяло выговорить мои давние претензии к Бродскому. О моем критическом отношении к Бродскому Полухина знала. Статья была закончена в сентябре 1987 года, за месяц или около того до присуждения Бродскому нобелевской премии. В статье я признавал Бродского большим поэтом, но настаивал, что по части собственно мастерства он не на должной высоте, не дотягивает до эталона, заданного великими предшественниками *.

*Талант, писал я, на весы не положишь; тут нужна работа нескольких поколений, проворонили же современники Тютчева, Боратынского, Мандельштама. При жизни поэта наше понимание его места затемнено обстоятельствами нелитературными. Среди первых я высказал тогда мысль, сейчас ясную всем: что репутация Бродского в значительной степени возникла и держалась не столько благодаря его стихам, сколько благодаря мощи и обаянию его личности. В стихах же Бродского полно вкусовых срывов и паразитирующих слов: наполнителей, не служащих ни смыслу, ни звуку. Всё это показано на множестве примеров; попутно, как и в статье о Ходасевиче, шла моя ars poetica, общий разговор о том, чем должны и чем не должны быть стихи.

Пришлась статья не вовремя. Едва я поставил точку, как Бродскому присудили нобелевскую премию, и тут выяснилось, что такую статью напечатать нельзя. Полухину в должности редактора сборника сменил Лосев, мою статью отклонивший. Другие редакции тоже не брали статью до самого 1990 года, когда мне удалось напечатать ее в несколько затхлых франкфуртских *Гранях*. Статья произвела впечатление; ее тотчас, не спросясь автора, начала передавать на своих волнах *Свобода*; ее читают до сих пор; у нее тысячи читателей на моем сайте.

Моя книга стихов, изданная в Израиле, заметного движения в

умах не произвела. Из драгоценных для меня частных отзывов отмечу письмо физика Юрия Меклера со словами «Вы — настоящий поэт». Распространять книгу пришлось мне самому, а по этой части я плох. Три человека в Иерусалиме вызвались написать о ней; каждый дал понять, что пристраивать написанное, раз уж меня охотно публикуют в журналах, придется мне самому. Каждому из соискателей я сказал: это — ваш бизнес; ни один ничего не написал.

В Израиле все проходят военную подготовку; пришлось и мне. Из советской армии *я выписался* в чине лейтенанта или старшего лейтенанта запаса; в израильской — стал рядовым. В возрасте 39 лет прошел курсы молодого бойца со сборами в палаточном лагере под Хайфой; оказался изрядным стрелком; сохранилась мишень, где двадцать пуль из М-16 с двадцати пяти метров легли в девятку и восьмерку. Дальше каждый год меня призывали на тридцать дней как резервиста. Среди прочих объектов охранял я в хаки и Стену плача.

Мои дела в иерусалимском университете шли не совсем замечательно (хотя и то правда, что оба моих тамошних начальника сохранили ко мне хорошее отношение и даже веру в то, что я одаренный ученый). В 1988 году я прочел в *Русской мысли*, что русская служба Би-Би-Си набирает сотрудников; подал на конкурс; прошел в британском консульстве в Тель-Авиве экзамен: перевод с английского, написание собственного текста и пробу голоса; отобран не был. Вскоре объявление в той же газете повторилось. Я снова подал, опять прошел экзамен и на этот раз был приглашен в Лондон, куда отправился 18 октября 1989 года с контрактом на 11 месяцев.

7

Никогда в своей жизни я не любил и не слушал радио: ни советского, ни антисоветского. Советское не выносил по причинам слишком понятным; в юности не мог долго находиться в домах, где оно, по тогдашнему обыкновению, не выключалось. В годы брежневского безвременья — не слушал «голосов». Новости, политика — не занимали никакого места в моей жизни, не относились к ней. «Прошлое жадно глядится в грядущее, нет настоящего, жалкого — нет». Правда, в Израиле я был некоторое время внештатным корреспондентом *Свободы*, но репортажи делал правозащитного и литературного толка. С этим и оказался в Лондоне. О Би-Би-Си знал мало. Имя корпорации вызывало в сознании представление о чем-то солидном. Там, надеялся я, должна присутствовать настоящая русская культура.

Сразу выяснилось, что это вздор. Горстка замечательных людей (в ту пору таковые там были), которыми служба *могла бы* гордиться, да не гордилась, — и та не отвечала моим ожиданиям. Лучшим из сотрудников мои требования к языку показались несообразностью. Говорят, писатель может работать кем угодно, кроме журналиста, но журналистика в обычном смысле слова — каррарский мрамор против шамота в сравнении с радиожурналистикой. «Вы с ума сошли! Сейчас же бросьте писать от руки. Некогда. Сразу — на машинке. Через сорок минут в эфир!» На перевод сообщения объемом от одной до трех страниц и его запись на пленку моим голосом, без всякой помощи оператора, отпускалось до полутора часов, причем нужно было еще самому и оговорки (*флафы*) вырезать с пленки специальной бритвой. Писать приходилось в комнате на шестерых. Прямо над ухом орали и спорили о самых невообразимых предметах. Все пишущие машинки были старые (мне досталась — без рычага для перевода каретки; прослужила до 1993 года). Вся работа в отделе текущих событий была переводная, все переводы — политические. И всё это приходилось выносить человеку с маниакальным отношением к правильности русского языка. Я угодил в преисподнюю. С первых же дней жалел о том, что уехал из Израиля; тосковал по Израилю.

Между тем дороги назад не было. В иерусалимском университете я не закрепился; вернувшись, оказался бы безработным. Таня, еще не перебравшаяся в Лондон, работала на полставки машинисткой, а затем младшим редактором в Еврейской энциклопедии, получала около ста долларов в месяц, прокормить семью не могла. Хуже того: она постоянно болела. От

гипертонии ей средство нашли, от израильской жары спасения не было, в хамсины она просто умирала от головных болей. Я говорил себе: моя каторга на Би-Би-Си — лавановo служение. Служу ради двух женщин. Таню вытащу в нормальный климат, дочь получит приличное образование (второе не сбылось не по моей вине). И — терпел.

Терпеть приходилось не только и столько жалкую, попугайскую работу, не требовавшую мысли, сколько ежедневные унижения. Я упоминал о чиновничьей атмосфере в университете, но она в сравнение не шла с той, в какую я окунулся на Би-Би-Си. Здесь было то, чего я не знал в худшие времена в СССР: откровенные подсиживания и доносы. На меня немедленно донесли, что я для радио не гожусь, поскольку картавлю и плохо владею голосом. Доносчик был прав. При поступлении в штат в 1989 году мне походя сказали, что голос у меня — худший на службе (а там работало около пятидесяти человек); в год ухода с Би-Би-Си (не совсем добровольного), в 2002-м, эти же слова я услышал от другого сотрудника, который в 1989 году еще в Москве жил и в коммунистической партии состоял. Объем легких у меня на четверть меньше стандартного. Го́лоса на длинные периоды мне не хватало — даже на *свои*, а ведь приходилось читать и чужие тексты, в интонационном отношении и по своему словарю для меня просто дикие. Я и раньше страдал от этого, никогда не умел прочесть свои стихи так, как их слышу. Тут — страдал пуще прежнего; ни одна фраза не звучала у меня естественно; голос свой я ненавидел. Работу приходилось делать двойную: я вырезал с пленки бесконечные *флафы* (и в итоге так наловчился, что мог вырезать лишний слог). За всю историю службы не было человека, который спотыкался бы больше меня. А ведь мне поначалу и в прямой эфир выходить полагалось.

Все русскоязычные сотрудники службы назывались продюсерами; им прислуживали операторы. В течение десятилетий над теми и другими главенствовал только начальник службы, британец, знающий русский. Продюсеры, сменяясь по ротации, делали примерно одну и ту же работу, специализация едва намечалась. Тем немногим, кто читал книги и умел писать, чаще поручались тематические передачи (на жаргоне службы — *фичера*, от английского features, с неизбежной шуткой «фичера на хуторе близ Диканьки»). Большая часть работников годилась только на переводы и в качестве дикторов; достоинства иных сводились к бархатному голосу. Как раз к моему зачислению в штат появились должности начальников отделов. Две вакансии, вот странность, немедленно заняли недалекие чиновники-обыватели, общей чертой которых был хороший разговорный

английский при полном отсутствии русской культуры. Первый, бывший москвич, сын известного химика, не умел ни писать, ни думать, ни работать. Второй, не моргнув глазом, произносил в эфир «так же само», что является языковой нормой в Черновицкой области, но не совсем приемлемо в других областях. Обоих пожирало властолюбие, подстегивала корысть. Вот таким-то приходилось подчиняться без слова; счет рабочего времени шел на секунды; дисциплина приближалась к армейской.

Следующий (после новоявленных начальников) слой составляли опытные продюсеры, служивые, тоже в основном переводчики, временами по ротации садившиеся в кресло выпускающих новостную программу *Глядя из Лондона*. Поначалу на эту работу соглашались и нормальные люди, но очень быстро, уступая новой тенденции, они были оттеснены другими, под стать начальникам отделов. Тенденцию задавал Дэвид Мортон, начальник русской службы, пустой и необразованный карьерист. Он, однако ж, не случайно оказался на своем месте: изменился общий климат в корпорации; вместо качества стали почему-то говорить об *эффективности*. Угождали обывателю, не то что не способному думать, а прямо не подозревающему, что иные люди думают. Речь, по Талейрану, дана человеку, чтобы скрывать свои мысли. Блаженные времена! Мы увидели самодовольное многословие, скрывающее безмыслие. Именно в эти годы Би-Би-Си (не только русская служба) начинает на глазах вырождаться в свою противоположность: в затхлую олигархическую республику чиновников-приспособленцев с раскормленным начальством в духе советской номенклатуры, где индивидуальность и творческий подход прямо преследуются. Об этом писала и пишет британская пресса. Культурный уровень службы я попытался характеризовать в статье *Пустынные волны*, напечатанной в сентябре 1997 года в *Русской мысли* под псевдонимом Семен Чертолясов.

Незачем говорить, что на Би-Би-Си, как и всюду, я опоздал на полноздри. Тем, кто мог сделать хоть захудалый *фичер*, в хорошие времена обычно уже через три-четыре месяца предлагали постоянный (пенсионный) контракт. Так было еще за полгода до меня. Я, к изумлению некоторых, начал делать тематические передачи почти сразу, однако не только не получил постоянного контракта, но едва продержался на полной ставке три года (дальше был вытолкан на полставки, еще через три года — во внештатники, дальше — в 2002 году — на улицу). В сущности, всё тут правильно: работником я был хоть и старательным и добросовестным, но плохим. Мне совершенно справедливо ставили в вину непреодолимое равнодушие к новостному бизнесу

и политике, а в уме при этом держали мой невыразительный голос и неважный разговорный английский, вещи, между прочим, связанные: именно фонетическая ограниченность мешала мне общаться и брать живую речь из воздуха. Свои *естественные* недостатки я компенсировал гомерической исполнительностью и прилежанием, которых до меня на службе не знали. Этим же — я прикрывал и вовсе страшный врожденный порок: то, что главное в моей жизни лежало за стенами Буш-хауса и вообще ни в какие стены не умещалось: стихи. Когда начальство догадалось об этом пороке, для чиновника невыносимом, мое будущее на службе было предрешено. Еще чудо, что я продержался там 13 лет.

Общее наступление против культуры, начатое в конце 1980-х верхушкой корпорации, на русской службе выразилось в травле отдела тематических передач. Но именно потому, что отдел этот, составивший в прошлом славу Би-Би-Си, перестал считаться важным, во главе его оказался человек порядочный и талантливый: Александр Донде (Кустарёв), полиглот, мыслитель, прозаик. Его повесть *Разногласие и борьба*, несмотря на неудачное название, — одна из вершин русской прозы XX века. Что она не заняла подобающего ей места, характеризует не ее автора, а русского читателя, которому по мерке пришлись *Москва–Петушки* да Лимонов с матом.

Были на службе регулярные тематические передачи: получасовые радиожурналы, выходившие периодически. Один из таких журналов, *В мире науки и техники*, с сентября 1990 года отдали мне. Это считалось достижением и привилегией, для меня же поначалу было только дополнительной обузой и мукой, потому что от новостной лямки не избавляло. Одно было хорошо: всё в журнале, от начала до конца, от выбора тем до вырезания флафов из готовой пленки, я мог делать сам. Точнее, я *стал* делать всё сам. До меня — над каждой такой программой работали двое: продюсер и оператор, занимавшийся пленкой и прочими техническими вещами. Соавторства я на дух не переношу, в компании теряю всякую инициативу — и вот, принимая журнал, я сказал, что оператор мне не нужен. Сначала в этом увидели чудачество, потом и предательство: со временем операторов перестали давать другим продюсерам, работа над программой в одиночку сделалась нормой, а резать пленку умели не все. Еще одна вещь была на службе замечательна без всяких оговорок: цензура отсутствовала. К установленному времени (раз в две недели по вторникам) я, минута в минуту или заранее, клал на положенную полку бобину с готовой пленкой — и она шла в эфир. Никто ее не прослушивал. Радиожурнал свой я вскоре переименовал, назвал его *Парадигма*, речь в нем повел уже не

только о науке и технике, а еще и о болевых точках культуры и цивилизации. Всего я выпустил 138 таких передач, последнюю — 4 мая 1999 года. Затем, когда *Парадигму*, несмотря на высокий рейтинг у слушателей, закрыли, я до октября 2002 года делал радиожурнал *Европа* (62 выпуска), сперва получасовой, потом пятнадцатиминутный, тоже в одиночку и совершенно независимо. (С переходом во внештаники в 1996 году я работал уже только на отдел тематических передач, сперва за половинную, потом за четвертную зарплату.) Кроме того, я изредка выпускал по ротации так называемый *Бритмаг* (радиожурнал о жизни в Великобритании) и делал нерегулярные тематические передачи на самые разные темы, но практически всегда — с историческим уклоном, без привязки к злобе дня. Еще — за дополнительное вознаграждение — по временам я писал и сам же наговаривал на пленку куски для других передач. Своему отношению к работе над любым ничтожным текстом я, сколько было сил, старался не изменять.

Стихи в первые мои годы на Би-Би-Си писались мало и плохо. Мешала непреходящая усталость и непрерывный гнет. Работать, при моей старательности, мне случалось по 12-14 часов в день без оплаты сверхурочных. Отношение ко мне бибисишного начальства портилось; возможности и самое будущее сокращались, как шагреневая кожа. С переходом (с переводом) на полставки в 1996 году денег на жизнь не хватало, приходилось писать публицистику для журналов за вознаграждения совершенно смехотворные: от 10 до 35 долларов за статью; так тогда платила западная русская печать, если вообще платила. Я перепробовал множество изданий по обе стороны Атлантики. В ту пору появилась у меня дюжина опереточных псевдонимов: Никифор Оксеншерна, Джонатан Молдаванов, Матвей Китов, Тарас Абгалдырь, Прасковья Дункан и т.п. Прибегал я к ним не потому только, что публиковаться сотруднику Би-Би-Си не полагалось, а в первую очередь потому, что берег свое имя. Щедрее всего платила газета *Лондонский курьер*, где я с 1996 года вел рубрику *Чудеса в решете*, а дальше во множестве печатал отдельные статьи, среди них и те, которые отношу к своим сочинениям. Там случались вознаграждения до 60 фунтов.

В 1990 году из Москвы в Израиль приехала собирать рукописи писательница и издательница Лина Глебова. Таня отдала ей 300 долларов и мой готовый сборник *Далека в человечестве*, который и вышел в Москве в 1991 году тиражом 10 тысяч (!) экземпляров и с невероятными опечатками (*горный* вместо *горний* и т.п.), даже с пропуском строк. Опять: это было не избранное, а книга, составленная еще до эмиграции, правда,

основательно переработанная. Будь у меня деньги и время; будь я ориентирован на внешний успех; не связывай меня по рукам и ногам подлая, изматывающая бибисишная рутина и нужда, я вспомнил бы старинное правило: любую открывшуюся в России возможность нужно использовать тотчас, иначе будет поздно. Достаточно было тогда хоть *Айдесскую прохладу* издать отдельной книгой, чтобы заработать имя и деньги. Но я никогда не занимался своей славой, никогда не умел считать деньги — и момент упустил. А был он вот какой: когда Таня, уже из Лондона, приехала в Ленинград осенью 1990 года, в редакциях, начавших печатать мои стихи, перед нею только ковровую дорожку не стелили. Один из старожилов Би-Би-Си, съездивший на родину, характеризовал это смутное время злой шуткой: «стоит, — говорил он, — показать карточку American Express, как женщины, не говоря ни слова, начинают раздеваться». Россия пребывала в последней стадии растерянности. Иным казалось, что вот сейчас эмигранты вернутся и начнут править если не страной, то культурой. Любое маломальское зарубежное имя было громокипящим кубком, гарантией успеха.

На книгу *Далека в человечестве* мне выпал своеобразный отклик. Думаю, именно на нее, потому что в Москве книг у меня больше не выходило. Знакомая израильтянка позвонила мне 28 апреля 1999 года с рассказом, что московская телепередача *Сегоднечко* опрашивала людей на улице, кто что собирается делать сегодня вечером. И вот будто бы один чудак сказал: «А я буду сегодня читать стихи замечательного поэта Юрия Колкера». В склонности к мистификациям рассказчица прежде замечена не была; обо мне написала пресерьезную статью под названием *К нам приезжал Поэт*.

В 1990 (или в 1991) году в Лондон первый раз приехал Кушнер. Отношения наши всегда были неровные; Тане, к которой он издавна относился очень хорошо, в Ленинграде приходилось мирить нас. Субординация учитель–ученик прежде наблюдалась строгая; другой мне и не требовалась. Тут, не иначе как под воздействием того унижения, которое переживала Россия, или — моего мнимого возвышения в качестве сотрудника Би-Би-Си, или, может, вспомнив, что я годами тоже не совсем мальчик, а разница в возрасте между нами всего десять лет, он вдруг повел себя со мною как равный: предложил называть его Сашей (и явно жалел об этом в последующие годы). Этот жест я воспринял как рукопожатие в трудную минуту. Тогдашние стихи Кушнера всё еще сохраняли для меня своё обаяние.

В 1991 году, на чемпионат мира по снукеру, как зритель и президент московского общества снукеристов, в Лондон приезжал

Межиров; естественно, он оказался и на русской службе, где мы познакомились. Еще в начале 1970-х я как-то написал ему и получил ответ (его письмо, вместе с некоторыми другими, перед эмиграцией я продал в ЛГАЛИ, то есть в Ленинградский городской архив литературы и искусства; тогда же мне пришло в голову, что лучшие свои годы я прожил в городе, где университет называется ЛГУ, а архив — ЛГАЛИ). Память у Межирова клинописная: он вспомнил это письмо и меня. На другой день после его приезда в Москве случился «путч» ГКЧП. Межиров прямо с русской службы позвонил домой; жена сказала ему: «под окнами танки; вытаскивай нас отсюда любыми средствами». Межиров ничего не предпринял. Сутки он прожил у нас в Боремвуде; пил водку (и мне пришлось); читал стихи, а я от чтения воздержался, и он унес мою книгу к себе в комнату, чтобы читать глазами; наутро хвалил с оговорками («вы сковываете свои возможности»). Во время нашей прогулки я между делом заметил, что считаю Евтушенку колхозником и бездарностью; Межиров от изумления остановился с открытым ртом.

В 1993 году в Петербурге вышла у меня еще одна книга стихов, *Завет и тяжба*, кажется, последняя книга издательства *Советский писатель*: кипа листов размером А4, свернутых пополам и перехваченных двумя скрепками, без тени оформления.

Мои лучшие стихотворные подборки 1990-х — в журнале *Звезда*. Печатали меня так охотно и так быстро, что я возомнил, будто во мне ценят поэта. Бывало, и просили стихов. Последующее показало, что стихи здесь были ни при чем: это была чистой воды кумовщина кружкового журнала. Меня печатали, потому что считали своим.

В октябре 2002 года я был выставлен из внештатников Би-Би-Си с крохотным выходным пособием и без пенсии. Важно подчеркнуть, что, при всех моих недостатках, дело было не во мне: шла систематическая травля людей образованных, борьба против тематических передач как жанра. Нашли способ увольнять даже людей с постоянными контрактами (при этом на отступные не скупились; деньги у корпорации несметные; на показуху, на потемкинские деревни швырялись и швыряются шальные тысячи). В этой игре я был пешкой; вдобавок я сам себе вредил на каждом шагу, вольно и невольно. Вот пример. Дикторов на службе не водилось; каждый из продюсеров мог попросить другого «дать голос»: пойти с ним в студию и зачитать кусок текста. При настройке уровня звука полагалось сказать несколько слов в микрофон; обычно люди читали первую фразу сунутого им куска, я же не упускал случая порезвиться, декламировал стихи,

повторял явившееся экспромтом двустишье: «На бибисях работают моллюски, они свободно говорят по-русски». Старожилы смеялись; новым, послеперестроечным сотрудникам, это не нравилось.

8

В 1990-е годы я много печатался; с 1996 года по 2004 год даже пытался кормиться журналистикой (и переводами). Поначалу в основном переделывал в журнальные статьи тексты, написанные мною для Би-Би-Си; по мере того, как работа для Би-Би-Си шла на убыль, а печать в России налаживалась, всё больше писал сразу для газет и журналов. Один и тот же текст продавал по нескольку раз, в разные издания, даже в одной стране. Платили анекдотически мало. Без всякой оглядки на Маяковского, по глупости объяснявшего «низкий уровень поэзии в Мексике» тем, что за стихи там не платят, я всё же думаю, что история русской литературы в конце XIX века и в начале XX века была бы совершенно иной, если б литературный труд не давал писателю возможности жить на вознаграждения.

Новые условия диктовали новую этику. В 1990-е годы писательский промискуитет даже в редакциях возражений не вызывал. Редакции делали вид, что платят, авторы — что пишут специально для этих редакций. Мою статью на годовщину первого съезда советских писателей (2004) *Звезда* в Петербурге печатала через три месяца после *Литературной газеты* в Москве. *Звезду* я о первой публикации предупредил; оттуда отозвались: неважно, читатель у нас разный. Мой личный рекорд — восемь вознаграждений за один текст (интервью о глобальном потеплении), но даже на восемь гонораров нельзя было прожить неделю: вот во что ценился писательский труд. Знаю, что и без спросу мои статьи перепечатывались кем ни попадя, а *Свобода*, не ставя меня в известность, не то что не платя, транслировала иные из них на своих волнах — даже когда я уже был сотрудником Би-Би-Си. Вообще лучшие мои статьи незамеченными не проходили. После статьи о Высоцком (2000) под окнами газеты *Новое русское слово* в Нью-Йорке случилась демонстрация; после статьи *Тризна по России* (*Новая газета*, 2005) меня, по электронной почте, засыпали угрозами отовсюду, в том числе из Австралии.

В 1994 году, с последними всплесками интереса к эмигрантам, я впервые поехал *на родину*, в Петербург. Впечатление было престранное: я точно в потусторонний мир вернулся. На моё чтение в музее Ахматовой собралось человек шестьдесят; директриса умилялась: «Вас пришли слушать лучшие люди города!» Но слушать было непросто; микрофона не было, а про мои голосовые возможности уже сказано. Кушнер после выступления с раздражением спрашивал меня: «Что ж вы читали так тихо?!» Тогда же произошел между ним и мною неприятный

разговор. В 1993 году я напечатал *в его защиту* (Горбаневская обвиняла Кушнера в зависти к Бродскому и Мандельштаму), где я между делом упомянул, что в своей прозе Кушнер не равен себе как поэту. «Юра, что вы пишете?!» — «Саша, ровно то, что думаю!»

В 1997 году, по делам, связанным с переводами его сочинений, Кушнер приезжал в Лондон; прожил у нас с неделю. На русской службе я взял у него три интервью для своей программы; другие ведущие тоже долго не отпускали его; просидев перед микрофонами часа четыре, Кушнер заработал разом 800 фунтов (мою тогдашнюю месячную зарплату) и тут же получил эти деньги: гостям с того света платили вперед. На другой день Таня устроила застолье вокруг поэта, на которое пригласила шестерых сотрудников отдела тематических передач. По вечерам мы с Кушнером гуляли. Я осторожно начал подводить его к мысли, что не стоит ему писать так много, стихи от этого проигрывают, «нельзя обол у Феба одолжить»; не стоит и москвичам уподобляться: пытаться владеть литературой, главенствовать в ней; он меня не услышал.

В 1999 году получил я по почте приглашение… на пушкинский *конгресс поэтов* в Петербурге; изумился и обрадовался: как переменилась Россия! Давно ли эмигрант шел за изменника? Что конгресс поэтов — затея смехотворная (хоть и западная); что устраивает его *Звезда*, выбившая под это деньги от «правительства города», то есть тот же Кушнер, — я не понимал; на конгресс отправился в приподнятом настроении; выступал там на всех главных подмостках; в Капелле, прочтя два стихотворения, сорвал единственную в своей жизни овацию большого зала. В кулуарных разговорах со мною литературоведы хвалили мои стихи, а мой доклад *Под стенами Ветилуи* (с подразумеваемым подзаголовком *о назначении поэта*) — наоборот, хвалили поэты. В докладе прямым текстом сказано, что литературоведы — *наша чернь*. Больше на подобные слеты меня не звали.

В 1998 году редактор *Звезды* Андрей Арьев пригласил меня выступить на первых Довлатовских чтениях. Я написал доклад, с Довлатовым не связанный, и беспрепятственно прочел его в собрании, где говорили только о Довлатове (потом Арьев его напечатал в журнале, о чем я его не просил; сочинение мне не удалось). Говорю об этом в связи с другим сочинением: статьей *Богоискательство у Боратынского*, наоборот, одной из главных в моем муравейнике. Она была написана к другим чтениям при *Звезде*, проходившим под именем Бродского в 2000 году. Приехав, я с удивление увидел в программке, что мой доклад называется

Богоискательство у Бродского. Для собравшихся датой было шестидесятилетие Бродского; для меня — двухсотлетие Боратынского, причем я заранее уславливался с Арьевым, что о Бродском говорить не буду. Тут, услышав, что я выпадаю из хора, он засомневался; в ответ я снял свой доклад. В кулуарах поделился этим с некоторыми, в том числе с Еленой Невзглядовой (Ушаковой). Та воскликнула: «Связать Бродского с Боратынским было бы так просто!» Я возразил, что у меня на дворе другая дата, а свистопляски вокруг Бродского я не одобряю; что о Бродском я уже сказал всё, что знал, а о Боратынском, поэте гораздо более крупном и Россией не услышанном, мог и хотел сказать новое. Она посмотрела на меня, как на идиота.

В декабре 1999 года, в телефонном разговоре, Кушнер спросил меня, что я думаю о его последней книге; услышав, что она замечательна, просил меня — tempora mutantur — написать о ней; я согласился. В первом же электронном письме к нему (у Кушнера как раз появилась электронная почта) я подтвердил свою готовность, но сказал, что статья не будет сплошным панегириком, и перечислил претензии. Ответ пришел неожиданный: Кушнер сорвался, ударился в крик; писал, что его все травят, а я присоединяюсь к своре (у меня, живущего на выселках, впечатление было совсем другое: мне в глаза бросалось как раз почтительность, окружавшая Кушнера, и его начальственное положение). Выходило, что и тут литература — дело партийное; чувствовалось, кроме того, что я субординацию нарушаю; что младшему, ученику, не следует критиковать старшего, учителя. Критику мою, в письме едва намеченную, Кушнер отвергал как нелепость; по существу это, может, и верно было, но никак не по тону; эпистолярный слог поэта показался мне убогим… Не знаю, в какой мере эта размолвка повлияла на то, что стихи Кушнера вскоре совсем перестали мне нравиться. Человек — не аптекарские весы. Некогда я верил в свою объективность; хвалил тех, кто мне лично неприятен, а друзей ругал, когда следовало; гордился этим. Верил я и в объективность Кушнера: в его способность отрешиться от своего ego в разговоре о главном; засомневался в этой способности в 1994 году, потерял в нее веру в 1999 году.

Поскольку место в моей жизни Кушнер занимал большое, расскажу и об окончательной ссоре с ним, но сперва подчеркну, что даже сейчас, когда мы знать друг друга не хотим, я остаюсь благодарен ему за ту школу, что прошел у него в юности. Говорил всегда, повторю и сейчас: в смысле собственно мастерства, даже если видеть в нем только гонгоризм, Кушнер до середины 1990-х не знал себе равных среди моих современников; создал он и свое

пространство, очень своеобразное.

Свою речь на вручении премии *Северная Пальмира* в 2001 году Кушнер, неизменный ведущий этих церемоний, начал словами о том, что моя книга *Ветлуга* (2000) «ничуть не хуже, ничуть не хуже» (именно так, с повтором) трех книг, попавших в короткий список. Я присутствовал в зале, но почувствовал не гордость, а горечь. Во-первых, если играешь в эти игры, играй по правилам; вечер посвящен лауреатам; конферансье не должен делать выпадов против них. Во-вторых и в главных, как ни плоха моя книга, как ни плох ее автор, а в таких словах поставить *Ветлугу* рядом с тогдашними книгами Сосноры и Гандельсмана было плевком — нет-нет, не в мой адрес, а в адрес того, что мы оба с Кушнером, как мне чудилось, ценили в русской поэзии, — того драгоценного, что от этой поэзии, исторически столь еще недавно великой, уцелело и в наши дни нуждается в защите. Я прекратил общаться с Кушнером. Приезжая, не звонил ему. При случайной встрече он спросил как-то: «Что же вы не приходите?» Но приходить было незачем; живых разговоров не получалось; пути разошлись.

Неправильность общественной позиции Кушнера задевала меня всё больше. Не дело поэта — председательствовать, назначать, раздавать венки. Не дело — поощрять среди младших, среди своих учеников и последователей, преклонение перед своим талантом, каковы бы ни были твои достижения. У поэта, как у монарха, нет возраста. Свое право на имя поэта ты должен ежедневно сызнова доказывать себе и другим — в духе Гёте: nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß. Но при этом, в духе Боратыского, «с Израилем певцу один закон: да не творит себе кумира он»: в первую очередь — из себя. Как раз среди этих младших, не смевших слова молвить против патриарха, зародилось в 2000 или 2001 году движение под не совсем благополучным именем *идентизм*. Кушнер позволил им вывесить свой портрет на их сайте, рядом с их портретами; две портретных рамки были оставлены пустыми; одну из них пригласили занять меня. Я несколько вскипел. Не постыдный ли вздор объединяться в группы, когда вам под пятьдесят или за пятьдесят? А прочитав их манифест, глупый и напыщенный, бросил недописанной статью о стихах вожака идентистов, Алексея Машевского.

Раздражение против Кушнера и горечь за него вылилась у меня, говоря его языком, в *прямой поступок*. В 2006 году, в статье не о нем, а на шестидесятилетие Зои Эзрохи, я, наконец, прямо предостерег учителя — ибо еще любил его, еще верил в него. Сделал я это с вызовом: пересказал нелестную для него историю,

пришедшую ко мне из самой сердцевины той среды, где ему смотрят в рот в поисках похвал и милостей. Иными словами — я *пересказал сплетню*, притом непроверенную. Я знал, на что иду. Повторять сплетни нехорошо. Сплетня могла быть выдумкой. Но вот беда: она тютелька в тютельку укладывалась в новый облик Кушнера, вчера гонимого, а сегодня начальственного и готового слышать в свой адрес только славословия. Сплетню, сказал я себе, всё равно передают из уст в уста и обсуждают; она уже — литературный факт. Возьму на себя грязную работу, выгод искать не буду, выполню перед учителем свой долг: напомню ему публично, чему он учил меня в моем младенчестве, — раз он моих приватных слов не слышит.

Попутно я ставил три эксперимента. Первый состоял в том, чтобы выяснить степень унижения гутенбергова станка. Эпоха интернета разительно снизила барьер между словом устным и печатным. Будет ли опубликованное прочитано или хоть услышано? Сегодня знаю, что журнал *На Невском*, в котором статья появилась, даже в Публичке отсутствует. Второй эксперимент: не задумается ли Кушнер? Ведь если от тебя отворачивается ученик, десятилетиями хранивший тебе верность, сражавшийся за тебя всюду, где только можно, то не следует ли спросить себя, вся ли неправда — в изменившем ученике? Заодно, грезилось мне, Кушнер может догадаться, что и эстетически я давно не с ним. Третий эксперимент касался доли кумовства в *Звезде*. Ответ на все три вопроса я получил разом. Пришел он из *Звезды*: «зарезервированные статьи можете считать свободными; новых текстов от вас не ждем».

Копеечная лямка продолжала оставаться главным внешним содержанием моей жизни. В 2001 году возник в Лондоне журнал под названием *Колокол*, и я оказался помощником его редактора Александра Шлепянова (не заместителем; на эту должность я не годился; заместителя, впрочем, и не было). Журнал, с некоторыми литературными и интеллектуальными притязаниями, предназначался новым русским. Моя работа сводилась к редактированию и сокращению, иной раз — и к полной переписке статей; в меньшей мере — к поиску авторов и материалов. Работать приходилось тяжело; получал я мало: фунтов по 300-400 в месяц. Авторам, включая меня, журнал платил вполне прилично по нашим временам. В нем печаталась дорогая реклама. Сразу было высказана догадка, что *Колокол* — предприятие Березовского. Представляя журнал в Питере и Бостоне, я не скрывал этой догадки, однако подчеркивал, что Шлепянов ее энергично отрицает. Осенью 2003 года Шлепянов пышно отмечал свое 70-летие; среди приглашенных оказался и

Березовский; пытаясь сказать богачу любезность, я ляпнул бестактность, во всяком случае, мои слова были восприняты как бестактность. Через неделю, когда я оказался в Питере, мне сообщили, что журнал прекращен. Думаю, он прекратился бы и без моей помощи — ибо не окупался… В этот период, впервые в жизни, Таня зарабатывала больше меня. Когда меня вытолкали с Би-Би-Си, Мария Карп, сменившая Донде в должности главы отдела тематических передач, рекомендовала Таню на освободившееся место в отделе маркетинга Би-Би-Си, где Таня и проработала, по 14 часов в неделю, до конца 2008 года.

С начала 2004 года все мои усилия были направлены на поиск работы: любой работы. В июле мне стало ясно, что через месяц наш банковский overdraft превысит разрешенный предел. Тут счастье улыбнулось мне: меня взяли подсобником на фабрику пластиковых изделий за пять фунтов в час. В объявлении говорилось: must be dextrous (должен быть ловок), но меня взяли. Это ли не чудо? Какая ловкость в 58 лет? Поначалу моя работа сводилась к сдергиванию (stripping) предохраняющей пленки с акриловых пластин, и я с полным правом называл свое занятие декструальным стриптизом. Незачем говорить, что я старался. Мое прилежание было замечено; меня быстро повысили: поставили к шлифовальному станку, у которого я и простоял, по девять часов в день, до июня 2007 года, причем моя зарплата после трех надбавок дошла до семи фунтов в час. Я был на седьмом небе. Ритмическая, не требующая ума работа оставляла голову свободной; карандаш и бумага для стихов почти не нужны. Подобного стихотворного запоя не наблюдалось у меня с 1971 года. Гречанка с крылышками посещала меня ежедневно. Я едва успевал фиксировать переполнявшие меня слова и замыслы. При этом я еще и прозу сочинял: статьи и рассказы. Каждый день я вставал в три утра, до семи писал, а в семь шел на фабрику (она находилась в двадцати минутах ходьбы). Возвращался к шести вечера полумертвым от усталости. Условия на фабрике были потогонные, конвейерные. Два раза мне отхватывало фрезой по куску пальца с ногтем, но всё заросло. До меня восточноевропейцев на фабрике не водилось. Мое трудолюбие надоумило администрацию искать работников в Чехии. Появились здоровенные парни, которым, при всем своем прилежании, я в ловкости уступал. Отношение ко мне, до этого превосходное, стало портиться; с некоторыми из чехов я не поладил; в итоге вынужден был уйти и впервые в жизни сесть на пособие.

В 2006 году в Петербурге вышла книга моих избранных стихов *Сосредоточимся на несомненном* и книга

культурологических и литературных очерков *Усама Велимирович и другие фельетоны*. Точнее, эти книги как раз *не вышли*, хоть и были отпечатаны. Посредница, занимавшаяся изданием, обокрала меня на крупную сумму и удерживала оба тиража до середины 2008 года. Книги полны досадных опечаток.

В 2008 году вышли еще две книги: подобие воспоминаний под названьем *Из песни злого не выкинешь* и сборник литературных очерков *Айдесская прохлада*. Первая книга была отпечатана в ста экземплярах в Петербурге и в сорока — в Лондоне; вторая, в питерском издательстве *Геликон*, вышла без тиража, по схеме on demand (по запросу).

9

Второе *событие без происшествий* в моей литературной судьбе можно характеризовать как отказ от служения: от агиографии, от чаши на пире отцов. Это событие размазано во времени. Я осознал его не ранее 1996 года; завершилось оно в 2001 году. В сущности, я слагал с себя значительную часть уз, мною же самим на себя и возложенных в 1970 году; отрекался от первого события; если угодно, впадал в детство.

Моей кормчей звездой долгие годы оставался Ходасевич: его стихи, его критическая проза и его человеческий облик, просвечивающий сквозь слог его прозы *и озаряющий его стихи*. Этот слог, высокий и строгий, ритмически упоительный, со скупым, но плотным нравственным насыщением, перестал быть для меня образцом и ориентиром в 1996 году; перестал насыщать. Его стихи отодвинулись еще раньше. Я вдруг увидел, что «передового нет». Как ни искал я опоры, никакого авторитета над собою я более не чувствовал. Раньше моя заявка была скромнее, не шла дальше языкового максимализма: ничье отношение к языку меня не устраивало, только мое собственное. (Я не мог, да так и не смог, писать *Би-би-си* вместо *Би-Би-Си* и *чёрт* вместо *чорт*; не стану писать и слово *интернет* с прописной — как не пишу с прописной слов *радио*, *телефон* и *канализация*.) Язык делают не чиновники, а писатели. В конце XX века *чувство отказа* у меня продвинулось и закрепилось. Учиться, как и прежде, я готов был у многих, живых и мертвых, благоговеть — не мог больше ни перед кем, не исключая и Пушкина.

Цветаева говорит, что *в пределе* чувствует себя равной Рильке; говорит тогда, когда ее слова еще кажутся дикой похвальбой. В пределе — и я никогда не чувствовал себя вторым по отношению к кому бы то ни было из живущих; внутренне не соглашался быть вторым. Тут нет ни самодовольства, ни мании величия. Рассудок указывает мне место самое незавидное, свидетельствует: ты букашка в контексте мировой культуры. Но рассудок тут ни при чем. Я знал минуты священного безумия, видел воочию, как «моя изгнанница вступает в родное, древнее жильё и старшим братьям заявляет равенство гордое своё». Мною сделано с гулькин нос? Верно. Мой талант — не самый яркий? Нечего и спрашивать. «Не ослеплен я музою моею». Стихи, этот младенческий способ постижения мира, всё меньше нужны взрослеющему человечеству? «Удар, не отрицаю!» Зато свой мандат — говорю это со спокойной уверенностью — я получил в том же ведомстве, что Данте, Гёте и Пушкин: не из соседней двери. Стихи не нужны?

Я не нужен — в той же мере, в какой не нужны они.

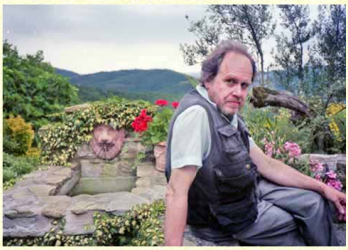
Человек, занятый своей агиографией, боится сделать ложный шаг, порабощен страхом нарушить пост. Этот страх прошел у меня вместе со способностью благоговеть перед русской литературой. (Даже прежняя, великая, с Пушкиным, Толстым и Достоевским, далеко не дотягивает до английской — и, в отличие от английской, давно идет под уклон; но я и перед английской челом не бью.) Служение кончилось. Я перестал быть авгуром перед алтарем: почувствовал, что больше никому ничего не должен, ни перед кем не подотчетен. Наоборот, все, начиная с русских классиков, должны отчитаться передо мною.

Агиография возможна только в системе непреходящих ценностей. В течение десятилетий я верил в таковые, твердил о служении великой русской литературе. Сегодня всё величие этой литературы вижу в России петровской, кончившейся в 1917 году. Эта страна «просияла и погасла». Ходасевич мечтает о «России новой, но великой» (*но* — к большевикам относится): я при большевиках мечтал о том же, а дожил до России новой, но ничтожной. Она лучше большевистской: в ней нет идеологического Молоха и ГУЛАГа, граница открыта, власть больше не интересуется искусством. Во всём остальном она подлее сталинской, не говоря о петровской. Пресловутой всемирной отзывчивости словно и не бывало. Мысль и совесть мертвы..

Драгоценнейшее достояние России, ее истинное национальное богатство, средоточие ее подлинного, а не квасного величия, — язык карамзинистов, — на моих глазах вытесняется испорченным американским. Дело не только в словаре с его уродливыми *имиджами*, *саммитами* и *фондрейзингами*, даже не в наступлении на флексии (это ведь анекдот, что у существительных на –ье отняли предложный падеж, а у таких имен как Короленко или Пулково — все падежи). Угодничество перед Западом у сегодняшних московитов простирается до интонационной порчи родной речи; смысловое ударение в русской фразе сделалось английским. При сегодняшних темпах разрушения языка с Пушкиным будет покончено через полвека, за вычетом же Пушкина от России останется ровным счетом Малюта Скуратов. Что в ней делать поэту?

В таких мыслях я пребываю сейчас — и отстраняю мечту о читателе, сегодняшнем и провиденциальном. Не верю ни в того, ни в другого. Служить в оставшиеся мне дни хочу только себе — в духе рекомендаций пушкинского Пиндемонти.

5 марта 1985 // 20 января 2010, Боремвуд, Хартфордшир



Сперва я родился, потом я учился,
Потом я за женщинами волочился,
Потом я полжизни решал уравненья,
Но в душу ко мне заползали сомненья,
О чем в диспансере мне выдали справку.
Потом я состарился, вышел в отставку...
Всю жизнь от стихов я напрасно лечился
И многими мерзостями отличился.

Я родился в четверг, 14 марта 1946 года, на Петроградской стороне. Она и есть родина. От Ждановки до площади Льва Толстого двух километров не будет, но только там камни и деревья говорят со мною.

О СЕБЕ БЕЗ КАРТИНОК

О СЕБЕ С КАРТИНКАМИ
КОРОТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

(2002)

Отец — из мелкой одесской буржуазии, мать — из питерского пролетариата и новгородского крестьянства. Познакомились в Берлине. Он был студентом, она — дочерью сотрудника торгпредства, старого большевика, бывшего солдата.

Большевик сделал изрядную карьеру: к концу жизни носил три ромба, но умер своей смертью — в 1935, сорока четырех лет, от «хронич. прод. бугорчатки лёгких».

О СЕБЕ БЕЗ КАРТИНОК

Мой самый первый адрес — дом 102 по Большому проспекту; его не помню, там я был младенцем. Мой главный адрес — Офицерский переулок (тогда — переулок Декабристов), дом 4, квартира 5, третий этаж, два окна в эркере... телефон: В2-11-79. Комната была 40-метровая, жили мы там впятером.

В шесть лет, еще не умея писать, начал я сочинять стихи. Отсюда все беды — и все радости.

В раннем детстве я лазал по крышам, плавал на льдинах и понтонах, тонул в ледовитой Ждановке. Упивался стихами: сперва Пушкиным, а потом Виктором Гюго (Лермонтову — не поверил). В пятнадцать лет был перворазрядником по волейболу и чемпионом города среди юношей в составе *Спартака*. Спорту было отдано много душевного пыла, но утренню зарядку я делать так и не научился.

Учился я плохо, но на сплошные пятерки. И в школе, и в институте. Плохо, потому что гиперактивность мешала. На пятерки — из-за нее же: не хотел быть хуже других.

О СЕБЕ БЕЗ КАРТИНОК

Отец — советский инженер, мать домохозяйка. Жили небогато, с годами всё беднее. В семье стихов не поощряли. Без благословения родителей я ходил в поэтический кружок при Дворце пионеров. Против их воли (не верили, что потяну) окончил с отличием физико-механический факультет ленинградского политехнического института. Зря, как выяснилось.

В уравнениях есть своя эстетика. Я отдал ей дань. Упивался почти как стихами. С излишней страстью. В 1978 году, уже давно зная, что я не ученый, защитил полузабытую диссертацию конца студенческой поры и получил степень кандидата физико-математических наук.

О СЕБЕ БЕЗ КАРТИНОК

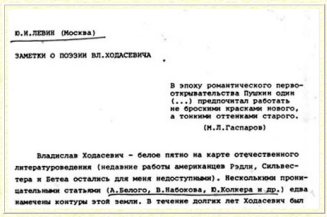
В первый раз я влюбился восьми лет от роду — и до седых волос не мог забыть первой любви. Потом было разное. Однажды чуть до дуэли не дошло.

Шесть лет после аспирантуры я состоял при жалком советском институтике с апокалиптическим именем СевНИИГиМ. Наукой там не пахло. Я в основном программировал.

Кандидатский диплом ничего не дал. Жили мы в коммуналке, в непроглядной бедности. Жена и дочь тяжело болели. Отдельной квартиры не было и на горизонте. Стихи мои в советских журналах печатать перестали. Макет книги стихов, уже принятой к печати, мне вернули. Оставалось эмигрировать. Я не хотел, упирался. Переворот принесла афганская война. Цинизм Кремля ошеломил меня, ухмылки интеллигентных обывателей довершили дело. Я понял, что не хочу даже числиться в их рядах; ушел в кочегарки и стал добиваться выездной визы. Борьба отняла годы.

Подробнее см. ПАРХАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ.

Я кочегарил на Адмиралтейской набережной, где в каждой котельной сидел поэт, затем — на реке Оккервиль, в Уткиной даче. Участвовал в самиздате, но богемный дух подпольной литературы не полюбил, а тогдашних непризнанных гениев нашел дутыми. В содружестве с тремя другими безумцами составил антологию ленинградской неподцензурной поэзии Острова, разошедшуюся в машинописи. Подготовил комментированный двухтомник Ходасевича, вышедший в Париже в 1983-м. Мою статью Айдесская прохлада читают до сих пор. В 1986 году московский литературовед, профессор Ю. И. Левин, поставил ее в один ряд со статьями Андрея Белого и Набокова. В 1980 году, перед московской олимпиадой, меня вызвали в КГБ и пригрозили статьей 190 (1) за стихи, ходившие в машинописи.



Ю.И.ЛЕВИН (Москва)

ЗАМЕТКИ О ПОЭЗИИ ВЛ.ХОДАСЕВИЧА

В эпоху романтического первооткрывательства Пушкин один (...) предпочитал работать не броскими красками нового, а тонкими оттенками старого.
(И.Л.Гаспаров)

Владислав Ходасевич – белое пятно на карте отечественного литературоведения (недавние работы американцев Рэдли, Сильвестера и Бетеа остались для меня недоступными). Несколькими проницательными статьями (А.Белого, В.Набокова, Ю.Колкера и др.) едва намечены контуры этой земли. В течение долгих лет Ходасевич был

О СЕБЕ БЕЗ КАРТИНОК

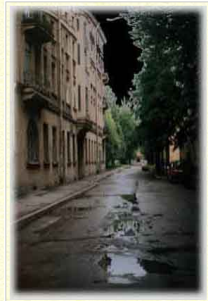
После четырех лет — в отказе мы, наконец, получили визу. Уехали 17 июня 1984 года. Почти шесть лет прожили в Иерусалиме, затем перебрались в Лондон.

С 18 октября 1989 года я состоял в штате Русской службы Би-Би-Си, о которой доброго слова не скажу. Всего проработал там 13 лет (последние семь лет — внештатником).

О СЕБЕ БЕЗ КАРТИНОК

Вот моё vixi. Стихи составляли в нем главное. Кое-что напечатано. Книга *Кентавромахия* (1972) не выходила отдельным изданием (она частично вошла в избранное). Книги *Послесовие* (1985) и *Антивенок* (1986) вышли в Иерусалиме. После разрушения Берлинской стены появилось еще несколько книг стихов: *Далека в человечестве* (М., 1991), *Завет и тяжба* (СПб., 1993), *Ветилуя* (СПб., 2000). *Клинопись* (СПб., 2006), *Сосредоточимся на несомненном* (избранные стихи, СПб., 2006) и книга очерков: *Усама Велимирович и другие фельетоны* (СПб., 2006). (Последние две книги до середины 2008 года были мне недоступны и в продажу не поступали. Литературный агент обманул и обокрал меня. Напечатаны они без моего разрешения, очень небрежно.)

Вышли еще две книги: *Из песни злого не выкинешь* (СПб., 2008) (что-то вроде воспоминаний) и *Айдесская прохлада* (СПб., 2008) (литературные очерки) Еще шесть книг я выпустил как редактор и переводчик.



8 февраля 2002, Боремвуд,
помещено на сайт 11 марта 2002

Юрий Колкер